

Михаил Сильванович

СЫНОВНИЙ КРЕСТ

ПОВЕСТИ

Москва

УДК 65.9 (2) 32
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6
С 36

Кто знаком с творчеством Михаила Сильвановича (он поэт, написавший немало лирических стихотворений, и журналист, выпустивший пять книг остросоциальной публицистики («Земные заботы», «Нашу землю нам и беречь», «В поисках потерянной страны», «Биография моей души», «С поклоном и молитвой»), тот узнает в предлагаемых на этот раз читателю двух повестях искреннего сострадаеля судьбам простых русских людей. Людей, вечно барахтающихся в водовороте событий, «закручиваемых» сменяющимися друг друга революциями и перестройками. В повестях «Сыновний крест» и «Дунайские волны» автор как бы разворачивает вширь и вглубь выраженную в одном из своих стихотворений мысль: «Неутолима боль России – её безнравственная власть».

Главный герой повести «Сыновний крест» несёт по жизни этот крест и ставит его в конце пути на могиле отца, русского крестьянина, «смытого» с родной земли в таёжную глухомань волной коллективизации. Герой другой повести – «Дунайские волны» – в своей успешно прожитой жизни служил во властных сферах столицы. Но, выйдя на пенсию, за несколько дней на своей малой родине не только проживает заново свою лирическую драму молодости, но и разочаровывается в плодах своей столичной деятельности, которые в родной провинции проявились неисправимой социальной ситуацией, понуждающей его близких родственников и земляков метаться по земле, в поисках лучшей доли.

Книга глубоко актуальна и адресуется массовому читателю.

ISBN

*Человеку похожей судьбы
Федору Ивановичу МАРТЮШЕВУ
посвящаю*

Автор

Сыновний крест

Иван Михайлович встал до рассвета, оторвал на стене листок календаря. Начинаясь день 1 августа 1996 года. С вечера было решено: некуда дальше откладывать, пора ехать.

Задумка была такая. Он должен навестить места, которые некогда невольно стали пристанищем их семьи: отца, матери, старшей сестрёнки Шурочки. Ему шёл восьмой год, но он помнил, как трое мужиков в портупелях поверх белых полушубков вошли к ним в дом. Семья завтракала. Клубы морозного пара прокатились от порога до стола и истаяли в переднем углу под образами. Отец, видимо заранее знавший, что за гости должны были

пожаловать, не торопясь, облизал и положил ложку на стол. Тем временем один из троих пришедших подал от порога голос.

– Гражданин Панов, вашей семье приказано освободить дом, и переселится до особого указания в контору льнозавода. Время на сборы полчаса. Взять с собой только тёплые вещи и немного продуктов.

Мать заголосила. В народе уже было известно, что по особому списку из деревни выселяют семьи, которые не пожелали записаться в колхоз.

Двое военных были бессловесны, а третий, судя по всему, старший, к сказанному добавил тоном помягше:

– Предположительно вас отправят на поселение в Уватский район. Крепитесь, дорога неблизкая.

Шестьдесят семь лет уж минуло с того дня. Иван Михайлович теперь, как казалось ему, всё знал про тот Уватский район, расположенный севернее Тобольска. Прочитывал, даже с пристрастием, что писали об этой «родине детства». Где-то рядом, в Урае, открылось нефтяное месторождение. Путешествие влекло со страшной силой, и оно не представлялось Панову трудным – край теперь, поди-ка, обжитый. Там осталась могила его отца.

Задумал поездку Иван Михайлович, когда

работал в школе. Он преподавал в старших классах историю. Школа находилась в его родном селе Ветлужье, откуда их выселяли при раскулачивании в 1929 году, а квартира досталась ему в посёлке льнозавода. Здесь была и семилетняя школа, но когда её закрыли, ходил он ежедневно по два километра взад и вперёд, в любую погоду, водил с собой ребяташек из поселка. Иногда в непогоду вместе с ними и заночёвывал в школе.

Он перебрался сюда с семьей уже после войны. Горькой была память детства, а всё же родина завлекла. И э т у свою родину он знал, как пять пальцев. А вот т у, связанную с жутким лихолетьем, с памятью отца, т у, с которой если кто и пытался бежать, возвращали под конвоем и потом судили – ему интересно было повидать теперь...

Он не мог совершить поездку раньше – в учебное время был связан по рукам и ногам работой, в летнее – домашними обязанностями: жена рано запала на сердце, как её оставишь? Сынишка подрастал, и поездку Иван Михайлович тайно надеялся разделить с ним. Год, как схоронил он свою Веру Петровну. Из всего живого теперь в квартире остался только кактус на подоконнике. Сын служит в авиации на Дальнем Востоке, в последнем письме в ответ на приглашение составить компанию как-то неопределённо отговорился. А Иван Михайлович, между тем, чувствовал: если он не сделает это

нынче, то в свои семьдесят с лишним не сделает уже никогда. Надо ехать.

С весны ждал августа. Этот месяц он считал наиболее подходящим – ночи ещё теплые, гнуса в тайге меньше, да и всего съестного природа к этому времени припасает видимо-невидимо: грибы, ягоды, кедровый орех...

Рюкзак он купил в последнюю поездку в Курган. В охотничьем магазине шустрые ребята-продавцы предлагали на выбор вместительные ранцы камуфляжного цвета, удлиненные, на всю спину. Он выбрал традиционный рюкзак под заранее продуманную поклажу. А поклажа также припасалась загодя, оставалось прикупить только добрых рыболовных принадлежностей: крючков, лесок, поплавков. Требовалось какое-то укрытие от дождя. Палатка в дороге будет тяжеловата. Попался зонт типа шатра. В рюкзак он не вмещался по длине, но был удобен тем, что брезент обматывался вокруг рукояти, и всё это застёгивалось на пуговицы. Зонт мог использоваться как трость. На нём можно было нести дополнительный груз, перекинув его через плечо.

Ружья у Ивана Михайловича отродясь не бывало, и он решил, что оно не потребуется – зверьё в тех местах, поди, распугано цивилизацией. Нож он купил в простом магазине, чтобы не связываться с оформлением документов и, мало ли что, не иметь

никаких противоречий с законом. Топорик был таких размеров, чтобы и дерево срубить можно было, и не сильно велик. Котелок у него имелся еще с молодых лет, когда с сынишкой выбегали порой на Тобол рыбалить окунишек. Он его начистил до красноты песочком, и с удовлетворением подумал, что такой штуки теперь днём с огнем на сыщешь – чистая медь.

Что важно было сделать до того, как покинуть дом? Квартира у него на втором этаже старого льнозаводского дома. Соседям скажет, что отправляется в Казахстан, навестить старого фронтового друга. Он сам не отдавал себе отчёта, почему такая легенда запала в голову. Что родственников у него не осталось нигде, об этом уже давно все знали, сестру Шурочку старше себя на два года, он схоронил лет пять назад, а вот легенда про фронтового друга вполне подходила. На всякий случай он оставит соседям ключ и накажет, чтобы письма из почтового ящика, если придут от сына, вынимали. Пенсию за август он вчера получил, а до следующей – рассчитал, что вернётся.

Вблизи поселка льнозавода проходят две железнодорожные линии, обе примерно на равном удалении с севера и с юга. Ивану Михайловичу надо было попасть на ветку, которая выходила на Тюмень. Их так и везли тогда, в феврале 1929 года. Обоз из

десятка саней под охраной верховых служащих шёл до станции Богдановичи. Пока ехали, никто не знал, что за народ сидит в розвальнях. Слышался плачь детей да команды охранников. Когда же на станции высадились из саней, то у отца нашлось много знакомых из соседних деревень. Но общение пресекалось охранниками. Сани по очереди подходили вплотную к дверям железнодорожных вагонов, и охранник в белом овчинном полушубке не по фамилиям, а по счету препровождал конвоируемых внутрь теплушек. Люди торопились, надеясь скорее укрыться в тепле, они передавали друг другу укутанных в бесформенные свёртки орущих детей. Дошла очередь и до их семьи. Отец, грубо оттеснив от дверей охранника, подсаживал на ступеньки мать, потом рывком забросил в проём двери Шурочку и поднял над толпой его, пережидая, пока сестренка вслед за матерью проползла куда-то в темноту вагона. За отцом дверь закрывалась, охранник, видимо, придерживался какого-то порядка заполнения вагона.

Цепкая память сохранила картину: молодые и пожилые женщины сидели, сгрудившись вокруг железной печки. Дети на руках, освобождённые от тряпья, зыркали испуганными глазами, потом снова начинали плакать. Так продолжалась до тех пор, пока не тронулся поезд. Стук колес перебивал голоса, а потом и действительно народ стал успокаиваться...

Вскоре нашлись любители пошутить. Первым объектом шуток была распиленная надвое железная бочка в углу, предназначенная под туалет. Кто-то даже попытался затянуть песню, но одного голоса оказалось мало, и песня угасла. И всё же через какое-то время она взяла своё, высокий голос раздул-таки огонёк, и он, как в костре, разгорелся. Песня была какая-то странная. Иван, возможно, забыл бы её навсегда, если бы гораздо позднее, уже в зрелые годы не услышал её однажды в Тобольске на пристани. Пел слепой гармонист и люди, останавливаясь, слушали. Остановился и Иван Панов. Уж он-то не мог пропустить такое явление. С тех пор помнил эту песню с её хватающими за душу словами:

Последний нонешний денёчек

гуляю с вами я, друзья.

А завтра рано, чуть светочек

заплачет вся моя родня.

Заплачут братья мои, сестры,

заплачет мать и мой отец.

Ещё заплачет дорогая,

с которой три года гулял.

– Мужики, а куда нас везут, – словно спохватился кто-то, когда песня смолкла.

– Не бойсь, дальше Сибири не увезут, – ответили из дальнего угла.

– В Туруханск, Сталин оттуда сбежал, теперь

вот нас туда заместо себя, – хихикнули где-то по соседству.

– Ты это, попридержи язык, – перебил шутника поповский голос. Иван такой густой бас слышал один раз в церкви, куда мать водила его на пасхальный молебен. Так и осталось в его представлении: если голос басовитый, значит, поповский.

...Автобуса на станцию Богдановичи по расписанию не подали. Подошёл экспресс до Свердловска. Иван Михайлович тут же вычислил выгоду: он в Свердловске сядет на любой поезд и быстрее окажется в Тюмени. Там он предугадывал задержку: на тобольском направлении вряд ли есть ежедневные поезда. В таком случае у него найдется время побывать в архиве. Дорогу с вокзала он туда знал, не раз бывал там. Его интересовали материалы о поселениях, образовавшихся в районе Увата в 1929-м, 1930-м годах. Была слабая надежда найти какую-нибудь ниточку к судьбам кого-нибудь из его сверстников, с кем оканчивал семилетнюю школу в лагерном поселке Носка, получившем своё название от одноименной таёжной речки.

Как он и предполагал, времени на архив у него нашлось достаточно. Только сведения почерпнул небогатые – про колхоз имени Калинина в Носке, который власти организовали из переселенцев и старожилов ещё на его памяти. Но и они

обрывались на грани начала войны. Сохранились справки, что с 1930 по 1933 годы в Носке были построены деревянные бараки для 30 семей и огорожено кладбище площадью 50 на 50 метров. И ещё, что в 1937 году там случился самострел. Застрелился Иван Загайнов, стороживший комендатуру. Загайнов, будто бы, вошел в доверие коменданта, он оставлял его ночевать в помещении при документах, а однажды забыл запереть сейф с оружием. Иван перед той ночью лишился коровы, бедняга объелась на потраве колхозного овса, и мало того, что сдохла сама, так за ущерб колхозу свели со двора и годовалую телку.

Панов отрешенно смотрел на желтые листки этих скорбных документов. Трагическая судьба Загайнова мало чем отличалась от участи его отца. Работая при строительстве барачков на конной вывозке леса, он перегрузил сани, полозья в низине срезались с ледянки, заезженная лошаде́нка билась, бедняга, пока не надорвалась. Отцу приписали вредительство, судили. Он, как и та лошадь, скончался от сердечного надрыва. Это случилось на третий год их водворения в Носке.

Когда рубили бараки, семья жила в наскоро построенной землянке. Была надежда переселиться в новострой, но теперь получалось, что они с матерью и сестрёнкой становились лишенцами вдвойне. Мать после этого поставили на самую

тяжелую работу – топить при комендатуре баню. Там требовалось через день, а то и ежедневно носить из старицы по пятьдесят ведер воды. Иван с Шурочкой помогали, но у четырнадцатилетней сестрѐнки были и свои обязанности – она ухаживала на ферме за телятами.

Однажды Шурочка пропала из дому. Искали по лесу, комендант вызвал конный наряд милиции из Увата. Обшаривали речные омуты. Мать выплакала глаза – Шурочку не нашли. Примерно через месяц комендантов угодник почтальон принёс письмо. Шурочка написала, что добралась до Ветлужья и устроилась на льнозавод грузчицей. Без документов принимать отказывались, но слезами разжалобила начальство и даже пригрозила, что повесится. В деревню свою не показывает. Слышала, что в их дом вселился участковый милиционер. Больше писать не обещала, чтобы по письму не выследили.

Напрасно сестрѐнка надеялась, что почтальон, этот хромоногий поганец, прозванный не за хромоту, конечно, а за доносительство на людей Костылем, не покажет сначала письмо в комендатуре. Тот быстро спроворили донос районному прокурору. И колесо закрутилась. Уже по осени Шурочку пароходом привезли под конвоем обратно. Была она – кожа да кости, за две недели, пока длилась дорога, ни разу не давали нормальной пищи.

Из Тюмени до Тобольска, как оказалось, можно было доехать маршрутным автобусом. Такой вариант показался Панову более интересным, чем по железной дороге. Он вообще готов был пройти этот путь пешком, чтобы по памяти ещё раз пережить давно пережитое, взглянуть на события 67-летней давности глазами матери, отца, своими собственными глазами.

Их везли тогда на лошадях, шло примерно десять подвод, запряженных в розвальни. Обоз сопровождали верховые охранники в белых полушубках. Иван сидел у края саней, и лошадь охранника тепло дышала ему в рукавицу. В санях, кроме четверых Пановых, ехала молодая пара с грудным ребёнком - это была часть большой семьи из соседней с Ветлужьем деревни, родители этой пары ехали в другой подводе. Мать молодой женщины, жалея дочь с ребёнком, подолгу шла рядом с их санями, и охранник не отгонял её. Полы длинного тулупа, запорошённые снегом, путались в ногах. Женщина то отставала, то нагоняла их подводу, но старалась держаться рядом. Ребенок всё время плакал. И вдруг затих. И тогда раздался дикий крик молодой женщины. Крик этот подхватила женщина в тулупе. И в тот же момент на дорогу из следовавшей впереди подводы вывалился здоровенный мужик с окладистой

бородой. Оттолкнув лошадь охранника, он навис над женщиной в санях, вырывая из её рук завернутого в одеяло ребёнка. Иван видел вывалившуюся из тряпья розовую ножку младенца, и ни женщина в тулупе, ни бородатый мужик как то странно не замечали этого, ополоумев от горя.

Обоз остановился, вокруг плачущей и орущей семьи сгрудились охранники. Старший из конвоиров приказывал двигаться, хотя бы до ближайшей деревни. Кое-как ему удалось убедить несчастных, что, стоя на морозе, делу не поможешь. Он выслал вперед одного из охранников, чтобы тот в первом попавшемся селении подготовил всё необходимое для остановки обоза. Слезящимися от ветра глазами Иван всё время искал по ходу движения хоть какие-то признаки жилья, но их всё не было, на всём обозримом пространстве виднелись только заиндевелые придорожные кусты.

Свёрток с умершим младенцем старшие родители унесли в свои сани. Молодая женщина ещё долго билась в рыданиях, пока не обессилела совсем. Отец ребенка даже не пытался успокаивать её, тупо поводя глазами по обочине дороги.

Селение появилось нескоро. Это было большое село. Спустя многие годы, Иван Михайлович, как профессиональный историк, вычислит и убедит себя, что это было село Покровское, родина скандально-легендарной личности, Григория

Распутина. Но ещё более значительным предметом его открытий будет тот факт, что дорога скорби сотен российский крестьян, жертв самодурства властей, совпадала с другой исторической реальностью – по ней препровождали на Голгофу семью последнего императора России.

Прибытия обоза в селение ждали представители местной власти. Для обогрева людей было приготовлено два казенных помещения, семьи с малыми детьми готовы были принять две крестьянских избы, но начальник конвоя не согласился разъединять обоз. Правда, он не стал противиться, когда сердобольные сельчане несли и несли, кто что мог: молоко в кринках и тuesaх, варёную картошку, солёные огурцы.

Заминка вышла, когда дело дошло до захоронения умершего ребёнка. Председатель местного сельсовета по приезде обозного охранника заранее распорядился, чтобы копали могилку. Но молодая пара ни в какую не соглашалась оставлять младенца в каком-то чужом селе. Опять были слёзы и причитания. Решающее слово тогда сказал бородатый мужик в тулупе – отец молодой женщины. И все притихли. С семьёй на кладбище начальник конвоя отрядил двух охранников.

В Тобольске Панов задержался на сутки. Стал искать гостиницу. Оказалось, что не там искал

– гостиница теперь находилась в невесть когда появившейся верхней части города. Здесь за старой тюрьмой – Панов сразу узнал её – и Кремлём с подновленными куполами соборов вытянулись улицы с городскими домами. Новый Тобольск принадлежал Нефтехимическому комбинату, всё в нём было по-современному – со скверами и даже с фонтаном в центре. Старый, хорошо помнившийся Ивану Михайловичу, Тобольск ещё глубже провалился в низину с видневшейся вдали излучиной Иртыша и ещё больше постарел.

В гостинице нашлось место, Иван Михайлович подал паспорт весело отозвавшейся на общение женщине и расспросил у неё про то, как ему дальше следовать до Уватского района. Из трёх путей – автомобильного, железнодорожного и речного – выбрал теплоход «Ракету», но она шла до Ханты-Мансийска только через день, рано утром. Так что на эти сутки пребывания в Тобольске у него приходилось две ночи.

Днём и вечерами он бродил по подгорной части города, силился узнать по затаённым признакам те домишки, в которых небогатые тоболяки под давлением властей тогда приняли переселенцев на жительство. Они жили здесь до мая, пока пришедший из верховий вместе с последними льдинами пароход не довез их до маленькой пристани на высоком обрывистом берегу. Именно этот путь манил сейчас

Панова. Ему хотелось больше похожести. Но о какой похожести можно было говорить, когда юркий теплоход, поднявшись прямо на развороте на подводные крылья, уже через пару часов приткнулся к шатающейся на волнах утлой баржонке.

Панов выходил один, и было похоже, что этот тихий берег не балуют вниманием приезжие. Пахло размокшей корой хвойных деревьев. На уши давила густая таёжная тишина. Наконец-то долгожданная похожесть принимала Ивана Михайловича в свои объятия.

Кто-то за его спиной кашлянул. Оглянувшись, Панов увидел старика в шапке-ушанке. Погода стояла жаркая, но шапка зачем-то была с завязанными под подбородком ушами. Это был шкипер местного причала. И не так уж он был стар, из ушанки стреляли хитрые молодые глаза. Просто мужик был небрит и запущен безвыходным одиночеством. Когда Панов спросил про деревню Носка, шкипер явил на свет божий ещё одно своё беспросветное качество – сильное заикание.

Но кое-какое знание об окружающей местности у аборигена всё же нашлось. И способности к изъяснению хватило, чтобы Иван Михайлович смог понять, что к тем местам, где раньше жили раскулаченные переселенцы, ведёт едва заметная тропа, её можно опознать только по сгнившей лежнёвке.

– Но к-к-колхоза уж и не помню, к-когда был. До п-перестройк-ки к-какая-то бр-ригада существовала, ещё хл-леб с-сеяли, к-коровёшек штук сто д-ержали...

Ивана Михайловича задело сказанное: колхоза уж нет, а что жили в нём «кулаки» – люди, оказывается, передают по поколениям. От нахлынувшей горечи, что ли, вырвалось у него нелепое признание:

– Вот я и есть тот кулак.

Шкипер вскинул глаза, словно дремал и вдруг проснулся.

– Да, к-к-к-акой ж-ж-а ты к-к-улак? Л-ладно в-р-рать-то.

– А скажи, чем отличались те кулаки от всех остальных? Как их опознавали?

Шкипер вымучил из себя длинную фразу, из которой Панов понял, что такие же люди, только «лесные», хлеб сеяли на раскорчёванных от леса полях. И что ему известно по рассказам старожил, что расселяли их по пятидворкам, и им надо было каждый день отмечаться в комендатуре.

Попрощавшись, Панов пошел искать начало лесной тропы. Береговой старожил всё еще удивлённо провожал его взглядом. Иван Михайлович спиной чувствовал этот взгляд. Вдруг его осенило, и он обернулся:

– Послушай, а пристань-то твоя зачем, если

люди здесь больше не живут?

– Т-т-тут в пяти к-к-килом-метрах вышка ст-т-тоит б-буровая. Г-г-геологи в балках живут. – Шкипер показал куда-то вправо, куда Панову идти не следовало.

– Вон оно что!

Он вскоре отыскал ещё довольно широкое русло речки. Это была Носка. Носка! Ему почудилось, что с этого момента началось узнавание «родины детства». В нём шевельнулся голод – ещё бы, до сих пор не завтракал. Выбрал небольшую прогалину рядом с тропой, весьма кстати здесь оказался кряж поваленного дерева с облупленной корой. Достал колбасу, купленную в Тобольске, налил в алюминиевую кружку из термоса ещё не совсем остывшего чая. И тут вдруг понял, почему шкипер, не смотря на жару, был в подвязанной ушанке – комары облепили не только открытые части рук и лица, но прожигали хоботами и тонкую льняную куртку. Он достал из рюкзака прихваченный из дому старый брезентовый малахай с башлыком и в том нашёл спасение. Очевидно, затянувшееся до августа жаркое лето дало зажитья комариным армадам.

Поев и поднявшись, подумал: удивительная штука – рюкзак. Сколько в него натолкано, а плеч не тянет и удобен. Оправдал себя и посох, раза два Панов оступился на тропе, а не упал, как посох, зонт

оказался надёжной опорой. И, пожалуй, зверь какой-нибудь посторонится. Прежний расчёт на обжитость этих мест теперь давал сбой при виде глухой тайги. Подумалось, что, поди, не исключено повстречаться и с медведем. Что касается волков, то они в это время года сытые, для человека не опасные. А медведю надо знак подать, мол, пропусти, хозяин.

Незаметно для себя Иван Михайлович стал что-то мычать в такт шагам. Мычание вылилось в слова. Получалась почему-то песня про Щорса: «шёл отряд по берегу, шёл издалека, шёл под красным знаменем командир полка. Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведёт, кто под красным знаменем раненый идёт. Мы – сыны батрацкие...»

«Стоп», – остановил себя Панов и рассмеялся: в строку складно вставлялось другое слово, и он нарочито громко пропел: «мы сыны кулацкие...». И вдруг осёкся. Неожиданно вспомнил, что вот по этой тропе от парохода вели беглую сестрёнку Шурочку. А, может, конвойные пожалели собственных ног, и у них была подвода. Скорее всего, так и было. Но Шурочке от этого вряд ли было легче, она возвращалась в неволю. За побег её наказали потом, когда уже можно было и не наказывать. Режим после войны стал менее строгим, кого из мужчин не забрали в 1937 году, те ушли на фронт. Вообще-то лиценцев не брали даже на войну, по этой причине и он, Иван Панов, пропустил свой год призыва в

Красную армию, и по какому-то послаблению был отпущен на учёбу в Тобольский педтехникум.

Учился он старательно, был заводилой среди студентов, участвовал в художественной самодеятельности и изображал в смешных видах Гитлера и Чемберлена. Уже перед самым выпуском в 1943 году руководство техникума спохватилось, что некоторые выпускники получают дипломы, не вступив в комсомол. Панов и ещё двое ребят из переселенческих семей, проживающих в соседнем Тавдинском районе, были в этом числе. На третьем курсе им уже один раз было отказано в приёме, и они, помня этот позор, не хотели ещё раз высовываться. Но директор техникума, добрейший Николай Николаевич Шелехов, больше других педагогов оказывавший внимание именно этим ребятам, приехавшим учиться в лаптях, настоял, чтобы их внесли в список, поданный в райком комсомола.

Бюро райкома вёл парень с неестественно длинным лицом. Тяжелые, сползающие на нос очки, скрадывали этот изъян, но и придавали выражению лица устрашающий вид. Иван сравнил его с комендантом Мирончиком. Такая же мина превосходства над окружающими и нескрываемой личности своей роли во всех публичных сценах.

– Расскажите свою биографию, – вкрадчивым голосом сказал он, и в интонации голоса прозвучала не предвещающая добра ирония.

Иван с ответной твердостью выделил, что происхождения он крестьянского, но вместе с семьёй в восьмилетнем возрасте переселен из Курганской области.

– Вы находите, что у вас есть основание гордиться своими родителями?

– Для иного отношения к ним у меня нет никаких оснований.

После такого диалога Иван считал финал сцены известным и хотел покинуть кабинет с длинным столом под зелёным сукном, за которым в немой позе сидел с десяток хорошо одетых и по одному стандарту подстриженных молодых чиновников. Но он был остановлен, прозвучал голос единственного среди присутствующих пожилого человека:

– Вы получаете диплом учителя. Будете воспитывать детей наших советских колхозников. И прежде всего сами должны понимать суть классового расслоения в крестьянской среде. Иначе вам нечего будет рассказать о преимуществах коллективизации.

– Выражайтесь проще, – дерзко оборвал оратора Иван Панов. – В комсомоле не место таким, как я.

По вкрадчивому поучительному тону пожилого человека Иван мог предположить, что события сейчас развернутся в его пользу. Сколько ему за свою жизнь приходилось после самому участвовать в

этих изуверских приёмах коллективного воспитания, когда человека старались подвести к краю и даже столкнуть в пропасть, а потом подхватить на лету и спасти! Да он и сам не нашелся бы, чем заменить эту так называемую школу, если бы от него зависел выбор способа перевоспитания. Он был, есть и будет, только, пожалуй, не для любых характеров.

Из райкома он отправился напрямик в военкомат. По принадлежности к крестьянскому сословию паспорта у него не было, метрики были «утеряны» при переселении. Иван воспользовался только что полученным дипломом техникума. В остальном препятствий зачислению на военную службу никто чинить не стал. В середине августа 1943 года рядовой Иван Панов оказался на пункте переформирования войск на станции Марефа под Харьковом.

Пройдя через войну до Берлина, он вернулся сначала в Ветлужье. Без всяких надежд, а просто из любопытства поинтересовался судьбой родительской усадьбы. В доме проживали вдова и дети того милиционера, про которого когда-то писала Шурочка, сам милиционер погиб на войне.

Никаких претензий по части собственности Иван никому предъявлять не собирался, да и не было ему дано на это никакого права. В начальной школе на льнозаводе, что в трех километрах от Ветлужья, нашлось место учителя. Оформившись

наскоро и получив гарантии на жительство, он отправился в Носку. Шурочку нашел постаревшей и изможденной на разных работах в колхозе. А мать – совсем обезножившей. Она даже не могла самостоятельно передвигаться по двору. Те пятьдесят вёдер воды для комендантской бани дали о себе знать.

Вылечить мать в ещё более одичавшей за годы войны таёжной местности не представлялось никакой возможности. Но и увезти её пока что было некуда. Да он и не знал, можно ли получить разрешение на выезд. Комендатура в Носке ещё существовала, а, значит, и режим поселения никто не отменял. Правда, комендант Мирончик сейчас не требовал ежедневной явки на отметку. Назначал это только по выбору, если хотел над кем-то покачать права. В общем, выше его начальства всё равно не было – всем своим поведением он демонстрировал, что за его спиной по-прежнему стоит всеильное НКВД.

Мать рассказала, как однажды своим «особым» вниманием Мирончик окружил Шурочку. К комендатуре примыкала пристройка, в которой размещалась контора колхоза. Комендант настоял, чтобы председатель назначил Шурочку уборщицей в контору, а заодно ей поручил убирать и его казённые помещения. Сам зачастил в комендатуру по вечерам. И однажды пьяный набросился на Шурочку, порвал на ней платье. Не добившись

своего, в отместку после учинил открытое преследование, припомнив и её давний побег из поселения.

Сестрёнка перед приездом брата просила мать не рассказывать ему об этой истории, тем более, что она сама собой уладилась, Шурочка вернулась обратно работать на ферму. Но у матери рассказ вырвался сам собой.

Иван, дождавшись, когда опустеет колхозная контора, неожиданно для Мирончика появился в комендатуре при всех военных регалиях. На гимнастерке были два ордена и множество медалей. Мирончик сделал вид, что не узнал его. Сам он был располневший, килевидный нос с возрастом сильнее стал выпячиваться на фоне синюшных щёк, покрытых сеткой склеротических сосудов.

Неизвестно, как бы прошла эта встреча. Нервишки Ивана Михайловича после фронта, конечно, не имели прежнего запаса прочности. Но он удержался бы от каких-либо крайностей. На первое место при этом визите он ставил разведывание условий выезда матери и сестры из резервации. Но Мирончик сам подтолкнул к иному развитию событий. Повод этот заключался в его беспардонной фразе:

– Почему сразу не отметился по случаю прибытия, товарищ сержант, вторые сутки уж гуляешь в поселке, порядок ты должен знать.

Иван не нашёл, что ответить на это. Такое нахлынуло на него, что моментально подняло Мирончика с места, глаза его испуганно расширились, рука опустилась к кобуре. Но Панов мертвой хваткой пресёк это движение. Прижав коменданта к стене, он вlepил ему слева и справа по скулам, затем, вцепившись в лацканы кителя, выдохнул прямо в лицо:

– Я за тебя, тыловая гнида, отметился в Берлине, пока ты над бабами тут изгалялся. Ты знаешь, что я имею в виду. Если посмеешь что-то сподличать против меня и моей семьи, то ответишь перед своими же. У вас в эн-кэ-вэ-дэ человечинкой не брезгают.

Чтобы не натворить большего, Панов резко повернулся и вышел. Мирончик не выскочил из-за стола, не выбежал следом. Он знал, что огласка случая с Шурочкой будет стоить ему дороже.

Через день Иван ушел по лесной тропе на пристань – пароход с низовий Иртыша шёл по известному ему расписанию. О матери с сестрой он решил походатайствовать в управлении НКВД в Тюмени. Пока колесо будет крутиться, он надеялся получить квартиру, создать мало-мальские условия для семьи.

От воспоминаний Ивана Михайловича отвлек град сухих сосновых шишек, просыпавшийся ему

на голову. Что-то зашелестело над ним, и он поднял глаза. На раздвоении вершины огромной сосны сидела рысь. Иван Михайлович увидел глаза зверя, готовящегося к атаке. Повадки рысей он знал, если этот зверь над тобой, то лучше отойти за расстояние прыжка. И он метнулся с тропы в сторону. Потом посмеялся над своим испугом и, оглянувшись, погрозил зверю посохом.

Русло реки всё время сопровождало путника. На уширениях Носка достигала метров десяти, эти места просвечивали сквозь стволы сосен и напоминали Панову весенние разливы. Они были неуправляемы. Река в пору его детства сносила мосты, и к сенокосу их надо было наводить снова, иначе от колхоза рекой отрезались естественные луговины, на которых к июлю, как огромные слоны, уже паслись стога сена. Иван с десяти лет помнил себя на сенокосе, это была золотая пора лета. От школы до школы дети были заняты работой: мальчишки драли лозу, девчонки плели лапти. Лапти у них принимал колхозный кладовщик и отмечал, выполнялась ли норма. На десятидневку каждому колхознику со склада выдавалась пара лаптей. Если кто стапывал больше, надо было плести самим. И обычно в каждом доме, на каждого члена семьи имелся запас лаптей. Это была удобная обувь. В сырую погоду ноги, конечно, промокали, но они

также быстро и просыхали. Девчонки умудрялись щеголять в лаптях с узорами, которые вплетались из лент, искусно подобранных по цвету.

Хороша ли, плоха ли была жизнь в Носке? А никто не знал мерила, по которому можно было это узнать.

На исходе четвертого часа пути Ивану Михайловичу стали попадаться следы некоей человеческой деятельности. Это были сгнившие доски, неровности земли, в которых угадывались то ли старые землянки, то ли подполья бывших домов. Наконец, открылась большая чистина, посередине которой Иван Михайлович без труда узнал уцелевшую комендатуру. Крыша была то ли снята, то ли разрушена, и от этого казенный дом как бы расползся вширь. Все венцы брёвен до самого верха были на месте и лежали, на век сцепившись вырубленными чашками углов. Панов подумал, что и век-то этот, собственно, не ушёл, дом был срублен в 1930 году, а с тех пор вместе с режимом разваливается и вся страна. Неужто она режимом только и была сильна? Станным показалось и то, что даже пристройка колхозной конторы куда-то исчезла, а казённый дом устоял.

По периметру чистины на солидном удалении от комендатуры из земли торчали воротные столбы, остатки неосыпавшихся завалин.

Панов догадался, что за годы послевоенного существования здесь колхоза деревня Носка изрядно подобралась, приобрела упорядоченную застройку. Немного потребовалось фантазии, чтобы представить на месте руин ровные ряды домов. И, судя по всему, они тут были. Сейчас нет. Деревню кто-то предал. Подобных картин Панов в войну достаточно насмотрелся там, где по земле прошёлся враг.

Зайдя внутрь комендатуры, Иван Михайлович задохнулся от запаха, хотя запах этот был едва уловим. Так пахнут школьные парты, только этого запаха осталось всего на один вздох, и на следующем вздохе он был уже неощутим. Но Иван Михайлович уловил его.

Он понял, что дало этому строению сохраниться. Это был дух школы. Парты вывезли, а дух сохранился. Режим в России всегда ломал под себя и школу, и школа всегда сопротивлялась режиму.

Был уже вечер. Странно, что солнце садилось за той же виднеющейся заречной луговиной, где оно садилось и в детстве. Только стогов на той луговине сейчас не было, и сама она сжалась под нашествием леса.

Ноги гудели от натуги. Но надо было ещё разжечь костер. На случай бессонницы Иван

Михайлович решил присмотреть дровишек на ночь. Рука не поднялась трогать уцелевшие доски, он собирал только годные для костра обломки, да нарубил топориком валявшихся в канаве жердей.

Потом разложил продукты. Рассчитал, что буханки хлеба ему хватит на два дня. На дальнейшее у него припасены сухари. Копченую колбасу он съест также за два дня, затем дня три продержится на сале – купил большой кусок на рынке в Тобольске. Приварок должен быть за счёт реки – в детстве Носка надёжно делилась рыбкой.

Продукты Иван Михайлович аккуратно сложил обратно в освобождённый от снастей и одежды рюкзак и повесил его на крюк внутри строения. Подумал на всякий случай и о том, где ляжет спать. В комендатуре, пожалуй, он расположиться побрезговал бы. Но это здание теперь воспринималось им как школа. Он облюбывал угол под сохранившейся кровлей и пошел хлопотать у костра.

Первым делом надо было принести из реки воды и наполнить кипятком термос. Когда костёр запылал, он пошел с котелком к Носке. Надо было пройти под уклон метров двести. Берег был утыкан кочкарником, и подойти к плёсу оказалось непросто. От зарослей белоголовника, называемого по здешнему обычаю кашкой, поднимался пьянящий дурман. Кочки скрывали Панова до колен, он

попробовал переступить с одной на другую, но они не выдерживали тяжести тела, подламывались. Шагов за пятьдесят до берега под ногами стала хлюпать вода. У Ивана Михайловича с собой были кирзовые сапоги, но он не переобулся. Пришлось вернуться и поискать лучший подход.

Он тут же упрекнул себя в невнимательности. Метров на двести слева течение реки в зарослях ивняка и черёмух плавно забирало влево, и берег сам выкатывался ему под ноги. Песчаная полоска позволяла вполне комфортно приблизиться к воде. Но Панов прежде остановился, его переполняло чувство ещё не осознанной победы.

– Ну, здравствуй, Носка, – сказал он в голос, и слеза покатила по его щеке. – Здравствуй, родная. Бросили тебя одну. А сколько ты с нами вместе пережила. Поила и кормила! Бросили...

Котелок нёс перед собой на вытянутой руке. Настроив таганок, подправил огонь и вернулся в школу за рюкзаком. Снова почувствовал летучий, как призрак, запах парт. Подумал: «интересно, много ли колхозных детей ходило в школу?» По опыту знал, что деревни повсеместно гибнут после закрытия школ. «Не бережно мы относимся к людям, сметаем их с обжитых мест, как крошки хлеба со стола».

Наладил у костра скамейку из двух чурбаков и принесённой из дома столешницы от парты. Подобрал прожаренные на солнце доски и соорудил

стол на вбитых в землю кольях. Достал из рюкзака чайную заварку. Вода весело забулькала в котелке, и Иван Михайлович, сняв его с таганка, бросил в кипяток щепотку заварки. Вспомнил, что этого мало, почти бегом добежал до ближайшего кустика белоголовника и сорвал пучок желтоватых цветков. Вот теперь чай будет, как у матери в детстве.

Ел и поглядывал, как густеет синева неба. От реки по склону медленно напознала пахнувшая осокой прохлада. Так же медленно душа наполнялась покоем и удовлетворением от сбывшейся давней мечты.

Однако с наступлением ночи настроение начинало меняться, Иван Михайлович почувствовал, сидя у костра, что погружается в некое огромное, зыбкое мироздание. Отторгает ли оно его или затягивает? Некая аура, как пишут, сейчас заклубится над ним, «тени забытых предков» должны явиться ему. Тревога, похожая на страх, усиливалась. Свет поднявшейся над лесом луны бледным одеялом укрывал пустынный квадрат бывшей деревни. На нём не проступало ни светлячка, ни признака какой-нибудь иной живинки. «Надо лечь, попытаться заснуть», – приказал себе Панов.

Полоска света от луны проникала в дом через проруб двери, и при этом свете Панов без труда расположился в облюбованном для сна углу.

Упрекнул себя: не догадался засветло соорудить здесь какую-нибудь подстилку из травы или ивовых веток. «Завтра сделаю это обязательно, а сейчас придётся разбросить усталые кости на жестком полу». Подголову Иван Михайлович положил сапоги, завёрнутые в чистые, давно не использованные, портянки. Накрылся брезентовой курткой, лицо от комаров прикрыл предусмотрительно припасённой для этого сеткой.

Какое-то время смотрел на звёзды, видневшиеся сквозь раскрытую часть потолка. В сон провалился незаметно – таинственное мироздание безропотно приняло его.

На рассвете сквозь сон померещился Ивану Михайловичу шум телеги с лошадиным топотом. Шум этот как бы выкатился из деревни, промчался мимо дома и закончился грохотом колёс по мосту в том месте, где он вчера пытался подойти к реке. Иван Михайлович силился вскочить и не мог. Проснулся, когда грохот исчез, и почувствовал, что на него кто-то смотрит. В проёме обвалившегося потолка увидел сову, сидящую на краю оголённой стены. Немигающими глазами птица смотрела на него. Видела она Панова или нет – говорят, что совы при дневном свете не видят, – но глаза эти смотрели в упор и словно ждали какого-то ответа.

Дремота отлетела вместе с совой, куда-то свалившейся со стены, как только Панов пошевелился

в своей жесткой постели. Он вышел на крыльцо. Сова и след простыл. Машинально посмотрел в ту сторону, где прокатилась мистическая колесница. В этом месте в детстве действительно был мост с двойным накатом брёвен, но сейчас вместо моста и подъезда к нему виднелся кочкарник и узенькая полоска воды вдали.

Костерок не подавал признаков жизни, но ложе под золой было теплое. Подумав, Иван Михайлович не стал разводить огня. Чаю он попил из термоса и тем временем продумал свои занятия на день.

Обувшись в сапоги – на траве обильно блестела роса – Иван Михайлович решил обойти «деревню». Отметил странную её застройку – квадратом. Это была дань всё той же комендатуре, что стояла в центре. Ну, допустим, размышлял он, в более поздние годы комендатура стала конторой колхоза, потом школой. Но планировка была задана режимным укладом жизни. Чтобы была не деревня а плац, и каждый дом на виду. Удобным считалось и первоначальное расселение людей по пять дворов: во-первых, брался в расчёт принцип управляемой самоорганизации, семьи селились по родству или по духовной близости друг другу. При комендантском надзоре, да тем более в тайге, власть, очевидно, людского единения не пугалась. Из детства Панову помнилось и третье преимущество пятидворок. Деревья

выкорчёвывались не сплошным массивом, что загромождало бы территорию, а участками и на них выкапывались землянки.

Позднее большим семьям разрешили рубить избушки из бревен, общая трудовая повинность исполнялась выходами на строительство барачков, амбаров, завозни с жерновами для размола зерна. Как бы сам собой быт складывался по колхозному типу, можно было его назвать и коммуной.

Панов не мог вспомнить, в какой год – во второй или в третий – откуда-то завезли коров и быков, и потребовалось спешно строить для них ферму. Ещё позднее в Носке – так называли это таёжное поселение – образовалась конеферма. Перед войной табун лошадей вырос до сотни кобылиц, жеребчиков и мерин, их всех невозможно было даже занять работой. Позднее оказалось, что кто-то умный смотрел на жизнь таёжной колонии с перспективой, из табуна периодически стали отбирать лошадей для армии. Так поселение бывших кулаков втягивалось в казарменный социализм с тяжелейшим бременем планов, налогов, самообложений, жесткой дисциплиной под надзором комендатуры. Раскорчеванные от леса поля стали засеивать овсом, рожью и горохом. Появился объект повышенной дисциплинарной ответственности для детворы – на поля гороха сразу после посева, когда набухающие в земле семена

становились приманкой для голодной ребятни и в пору созревания, комендатура стала выставлять охрану с берданками. Довели план госпоставок зерна, который каждый год превышал скудные намолоты, и за недоимки снимали председателя за председателем. Их обычно привозили со стороны и так же периодически они исчезали.

Пятидворка его родителей находилась чуть поодаль от угла теперешнего поселенческого квадрата. Отец выкопал сначала землянку, затем возвёл над ней бревенчатый сруб, и получилась вполне сносная изба, а землянка стала подполом. После смерти отца другого жилища семье так и не досталось, отсюда Иван уезжал на учёбу, здесь до 1946 года жили мать с сестрой Шурочкой.

Ему стоило больших трудов вывезти к себе на льнозавод мать. Обивал пороги в управлении НКВД в Тюмени. Воспользовался членством в партии – билет получал на фронте, прямо на передовой – поддержка райкома оказалась действенной почти годичной переписки и разных мытарств. Шурочку всё же не отпустили – возымело действие напоминание Мирончика о её прошлом побеге. Сестра прожила в Носке ещё два года, затем вышла замуж за местного фронтовика, и уже он вызволял её из-под режима.

Ничего похожего на подворье на месте

их бывшей избы Панов теперь не нашёл. О его существовании можно было догадаться только по прогибу рельефа между соснами.

Дальше путь Ивана Михайловича лежал на кладбище. Ноги утопали во мху, сплошь усыпанном спелой брусникой. Как он помнил, от их дома в полдень к кладбищу надо было идти на солнце. Но ещё стояло утро, и он внёс в свою ориентировку поправку. И не ошибся. Попетляв немного между стволами сосен, увидел множество поваленных и уже полуистлевших крестов. Найти могилу отца он и не помышлял. И вины за это не чувствовал – видимо ещё в детстве отец освободил его от этой вины, не раз втолковывая, что помянуть близких людей можно на любом кладбище. И Иван Михайлович поминал. А кладбищ за свою жизнь он прошёл бессчётное количество, в том числе и на войне. И, хороня боевых товарищей, всегда поминал отца.

На разные голоса веселились птицы, словно какая-то своя жизнь клубилась над старыми могилами. Иван Михайлович подумал: вот уж где сведён полный баланс между началом и концом. Некому и не на кого обижаться. Самый лучший враг – мертвый. Эти слова приписывают Сталину. Но человек, будь он кому-то враг, кому-то друг, конечен. А природа мысли бесконечна и она всегда рождается на потребу времени. Она могла родиться сотни раз до Сталина.

В истории человечества одна сила во все времена стремилась подняться над другой. Сила рождала превосходство одного над другим. Жажда превосходства и формирует феномен власти. Из русского коммунизма тоже получилось уродливое превосходство одних над другими. Оно только теоретически было превосходством большинства над меньшинством. Стоило укрепить аппарат власти оружием, соответствующими законами и определить его функцию в государстве, назвав диктатурой пролетариата, стало возможным подчинить этой образовавшейся силе и сам пролетариат. И меньшинство вознеслось над большинством.

В таких раздумьях Иван Михайлович набрёл в тайге на едва приметные остатки животноводческой фермы. Он потянул носом воздух в себя, но даже запаха фермы не почувствовал. Из этого можно было сделать вывод, что колхоз здесь прекратил существование лет сорок назад. Как историк, Панов даже вычислил причину его конца. В пятидесятые годы проходило укрупнение колхозов, под центральные усадьбы выбирались наиболее крупные поселения. Остальные деревни входили в них как бригады. Вновь образовавшееся хозяйство имело подчас до десятка бригад. В этих местах поблизости крупных поселений не было. Но и не могло такое случиться, чтобы Носку сразу

вычеркнули из производственного строя. Ведь потребовалось бы план по зерну, молоку и мясу с неё на кого-нибудь переложить. При советской власти выключение из оборота одного-двух гектаров пашни надо было обосновывать в самой Москве. И столица вряд ли на это согласилась бы. Скорее всего, формально сделали Носку бригадой какого-нибудь хозяйственного образования, удалённого на десятки километров, а фактически оставили на самовыживание.

Иван Михайлович часа три кружил по окрестностям. Останавливался, на возвышенных местах с сухим мхом выбирал и ел уже переспевшую бруснику. Попадалась и черника – она всегда отходила здесь раньше брусники. Ел, пока не появилось на зубах неприятное ощущение оскомины.

У комендатуры-школы он оказался, когда солнце уже перевалило на западную половину неба. Что-то приятное теплится в душе, как предчувствие торжества. Он догадался – это было предвкушение рыбалки. Ещё когда покупал в Кургане рыболовный набор, увидел удобную туристскую лопатку, похожую на сапёрную. Тогда раздумывал, взять или нет. Сейчас этой покупке порадовался: есть чем накопать червей, которых, поди-ка, тьма тьмущая у реки под кочками. Предположение не обмануло: подрубил одну

кочку, другую, копнул два-три раза, и во влажной массе земли увидел жирных, узловатых червей. Сложил их вместе с землёй в полиэтиленовый мешок и принялся готовить снасти. Пожалел, что не догадался подобрать в бору подходящее удилище – там их и на корню, и уже сухих под ногами – полно. Но сейчас отложил это до другого похода, срезал прутик талины, привязал к нему леску с поплавком и крючком и направился к берегу. Там, где зачерпывал вчера воду, приметил затенённый омуток – то, что надо.

Поплавок смачно плюхнулся в воду, нырнул пару раз и покойно лёг, отражаясь цветным боком в зеркале воды. Минута и он начал знакомое вращение на воде – так берётся обычно плотва. Тут в самый раз бывает подразнить её, и Иван Михайлович повел удилище в сторону. Натянувшаяся леска передала руке отрывистые толчки. Ещё минута, и поплавок круто ушёл под воду. Подсечка и спокойный рывок на себя. Над вздрогнувшей гладью омута искромётно взлетел крутобокий подъязок. Иван Михайлович, не поверив моментальной удаче, отбросил его подальше от берега, где он, сорвавшись с крючка, энергично затрепыхался в траве.

Клёв был отменный. Ловились подъязки и окуни. Подъязки – это особый фарт для удильщика. Мясистые, жирные, в два-три раза крупнее плотвы. И счёт имеют особый: десяток и – уха для хорошей семьи или компании. Через час Иван Михайлович

уже возвращался к своему обиталищу. Душа ликовала. Он азартно выпотрошил улов, несколько подъязков круто посолил – так здесь делали в детстве. Потом промыл остальную рыбу, разжег костер и наладил таганок. Как драгоценную принадлежность, извлек из бокового кармана рюкзака луковицу. Вскоре над дрожащей вечерней благодатью разлился аромат забытого в этих местах присутствия живого духа. Как мало для этого надо – один человек и возрожден целый мир!

Для ухи у костра желательна компания. Разговор. Но где ж её взять, компанию в этой некогда клятой глуши. Мысленно Панов усадил вокруг себя отца, всех, кого вспомнил: соседей по их пятидворке, учителей своей семилетней школы, школьных друзей... Подумал вдруг: а ведь надо же, школа была! Не в пример нынешним властям, закрывающим школы с опережением вымирания деревень. Худо-бедно, а семилетку вместе с ним закончили в Носке восемь ребят и две девчонки-двойняшки, Катя и Нина Переверзевы, которых, чтобы не путать, учителя рассаживали по разным партам. Учителей на все предметы было всего трое. Но даже слова такого не было – некомплект. Проблема была с иностранным языком, его преподавать было некому, наверное потому, что в программе был немецкий, а за войну отвращение к нему оказалось сильнее потребности.

Классы состояли из разновозрастных детей, особенно старшие, потому что школа открылась только на третий год после переселения, когда построили первый барак. Панов сам пошел в первый класс только на девятом году, а его сестра Шурочка села сразу в третий класс уже в двенадцать.

Комары омрачали трапезу. Панов, отмахиваясь таловой веткой, звучно схлёбывал с ложки золотистый навар ухи. Рыбу раскладывал на досках стола и выбирал руками самые вкусные куски от брюшек и плавников. Было в удовольствие это естественное, свободное от светских вычурностей столование. К этикетам он всегда относился с долей юмора. Знал, что неприлично звенеть ложкой в стакане, но всегда со смехом ловил себя на этом занятии. К светским раутам был не приучен, и только в годы учёбы в институте, когда доводилось иногда попадать в публичные застолья, с трудом постигал искусство выворачивания рук при пользовании вилкой и ножом. Наверное, англичанам это было нужно при поедании их кровавых бифштексов, и это стало европейским стандартом.

Шутя, Панов приводил в пример китайцев, не выпустивших из рук перед лицом Европы свои столовые палочки. А мы, русские, свои деревянные ложки побросали. Была жива Вера Петровна, она иногда вместе с ним смеялась над сермяжной «идеологией» мужа, и это было не больше,

чем их беспечной домашней забавой, которая вспоминалась сейчас не иначе, как всплеск тоски одиночества.

Прибравшись у стола, Иван Михайлович вспомнил, что собирался наладить себе постель. На опушке леса стояли заросли травы в человеческий рост. Трава затвердевая, подсохшая, рвать её пришлось руками. Легко набралась целая копна пересохшего травостоя. За три раза копна была снесёна в дом и расстелена в углу. Дом наполнился приятным запахом сена.

На вечер ещё был оставлен обход окрестностей бывшей деревни с той стороны, куда, как помнилось Панову, уходила дорога на раскорчеванные от леса поля. От той дороги не нашлось и следа. Иван Михайлович хорошо помнил, что в этой стороне по увалам тянулась череда прогалин, неизвестно как образовавшихся. Выбирая места под распахку, переселенцы здесь чертили лес. Образовывались целые полосы «черчёного» леса вдоль естественных прогалин. Высохшие за год-два ошкуренные деревья затем спиливались, корневища возле пней обрубались топорами и выкапывались. Работа производилась каторжная, но поля год от года прирастали пашней. Иного способа наращивать производство хлебных культур среди тайги не было.

Приросшие поля попадали в государственные статистические отчёты, и на каждый квадратный

метр доводился план хлебосдачи. Через тайгу прорубались дороги для хлебных обозов. Страна вбирала в свои бездонные закрома бесценное по затратам труда золото таёжных крестьянских старателей.

Сейчас взору Панова открывались только лесные распадки, деревья на них ещё не поднялись в полный рост, но тайга уже взяла своё. И даже больше – не стало и прежних естественных прогалин.

Иван Михайлович почувствовал себя как в мешке. Выхода ни в какую сторону не было. Ему стало жутко.

Вернулся на свою стоянку. Подновил костерок. Пошарил в углу под сеном и достал завернутое в тряпицу своё главное сокровище, которое должно придать его пребыванию здесь особый смысл. Это была ножовка, две скобы и полдюжины гвоздей. Завтра он приступит к самому главному действию. Он сделает то, что до него не догадался сделать никто. И тем заслужит прощение отца за долгое своё отсутствие, за то, что столько лет творил неуклюжую молитву памяти о нём на чужих кладбищах.

Как же была тяжела и противоречива эта молитва. В душевном настрое войны он забывал лихо, сотворённое с его родными и близкими на крутом повороте жизни. На войне решалась задача, перед которой меркли личные обиды. От стального монолита страны был почти отломлен кусок,

который был для него свято воплощён и в отеческом слове Тараса Бульбы и в прекрасном гневе Петра под Полтавой.

Или это было заблуждение? Но ему никто не напомнил об этом. Когда во время форсирования Днепра его отделение, первым достигшее противоположного берега, подало плоты под погибающие орудийные расчёты, он на походном собрании искренне принял от самого командира полка рекомендацию для вступления в партию. Никто не задал вопроса о том, кто были его родители, и боль за Носку тогда не торкнулась в его сердце, отложилась «на потом».

А «потом», когда в 1946 году попытки вызволить из таёжного плена больную мать натыкались на твердолобую бдительность энкэвэдэшных душеприказчиков, минутами на него находил стыд за тот искренний порыв. Но медленными шажками дело подвигалось к лучшему. Он перевез-таки на родину мать, получил работу, квартиру, заочно поступил в педагогический институт на исторический факультет, окончил его. В институте встретил свою единственную и обзавёлся семьёй. Родился сын, и внуку кулака никто не помешал вступить в комсомол, окончить школу, авиационное училище и стать военным лётчиком.

Колхоз в Ветлужье постепенно становился вполне дееспособным сельскохозяйственным

предприятием, всем давал работу, и работа становилась день ото дня легче, машины постепенно заменяли ручной труд. Никому уже и в голову не приходило требовать от государства частный земельный надел, чтобы работать на нём в одиночку. Когда Панов-историк сопоставлял периоды лихолетья в стране с достижениями, отходили сомнения в правильности политического курса. В Ветлужье была построена новая двухэтажная школа, и Иван Михайлович стал преподавать в ней историю. В девятом классе проходили тему коллективизации в СССР, и он был благодарен Шолохову за то, что своим романом «Поднятая целина» помогал ему не лживо, а со всеми противоречиями рассказывать о том историческом периоде жизни. Для школьной программы события на Дону были достаточной иллюстрацией. А в здешних местах наглядной была история про то, как в Ишимском уезде в борозде кулаки сожгли коммунщика-тракториста Петра Дьякова.

Правда, лично для себя Панов держал сомнение: не для того ли был распропагандирован этот факт, чтобы потом обозами вывозить из своих домов в Уватские леса, на Кулай, на Васюганье и в другие безлюдные места Сибири противящихся коллективизации крестьян? После оказалось, что Пётр Дьяков был жив и героически шоферил на фронте. Но про него, мёртвого, пел хор имени

Пятницкого: «Прокати нас, Петруша, на тракторе». И в школьной хрестоматии были напечатаны стихи о том, как «на заре на утренней не стало комсомольца Дьякова Петра». Народ знал эту историю именно в таком развитии.

На уроках истории этими сомнениями он с учениками поделиться, разумеется, не мог. И вообще он считал, что откапывать из истории те пласты, которые способны возбуждать новые кровавые, а, главное, бесполезные революции, должны учёные, облечённые большим общественным доверием. Замечал, как в исторической науке плодятся мутанты, которые ещё на уровне своих аспирантских рефератов берутся «пересматривать» период татаро-монгольского ига. Тем более им ничего не стоит в угоду современной власти оболгать новейшую историю.

Между тем, прощение властям за Носку ещё раз отомстило ему, когда он стал изучать документы по реабилитации невинных жертв так называемых сталинских репрессий. Он по-своему оценивал роль Сталина во всём происходившем и считал, что процесс не мог быть персонифицирован настолько, насколько его персонифицировали историки, обслуживающие власть после Сталина. Грехом мертвого Сталина они прикрыли миллионы палачей, которым дали до поры затаиться в новой волне власти. Опубликованы документы,

свидетельствующие, как Лубянка в 1937 году спускала на места разнарядки: сколько надо казнить по первой категории, сколько по второй и третьей. Первая означала расстрел, вторая – выселение, третья – ограничение в гражданских правах. Цифры были немаленькие. Но в ответ от местных властей в Москву шли прошения о том, чтобы увеличить репрессивные квоты вдвое и втрое. Мотивировка была такая, что в гораздо большем количестве люди уже арестованы или расстреляны...

Солнце, как и вчера, сплющивалось у горизонта, пахнувшая осокой прохлада напозвала на тишину, слегка волновала огонь в костре и обволакивала несуразно выглядевшую без крыши цитадель бывшей власти. Панов настороженно посмотрел на сруб, будто уловил какое-то предчувствие. Нет, это снова бился пульс мысли. Повернись сейчас какое-нибудь колесо в современной истории, и придут, и рассядутся по местам новые властители. И начнут править. И крышу над собой возведут. И даже покроют золотом, если им покажется, что так надо.

Феномен власти сейчас ни в каком выражении не присутствовал в этой глуши. Даже запаха, подобного тому, который призрачно таился в школьных стенах, не было. Но тема власти вообще была той из тем, в которой Панов прожил за свою жизнь несколько жизней. Вначале это была жизнь, наполненная горечью переживаний, обиды за

несправедливость. Это чувство вместе с ним взрослело и наполнялось всё новым и новым содержанием. Длиннен был путь к осознанию неизбежности насилия, присущего любой власти.

Однажды у историка Ключевского он нашёл объяснение природы насилия. В своём дневнике он зафиксировал мысли, и они врубались Панову в память. Простые и справедливые мысли. Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли. «Правьте нами, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия подстилает этот постулат под себя: «Нет, это вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами и даже платите нам хорошее жалованье, чтобы нам весело было управлять вами. Если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому, что ваши потребности несовместимы с образом управления». Панов подумал: в сущности, немного требуется, чтобы приставить к таким идеям солдата с ружьём. И получится, что получилось при большевиках, при Сталине. Народ поддержит. Народ всё поддерживает. Он любит покой, и в состоянии ожидания покоя, как глухарь на току, незаметно попадает под новое иго власти.

Сюда, на северную речку Носку, на Кулай, в Васюганские болота ссылали за то, что крестьянин имел в собственности на одну-две коровы, на одну-

две лошади больше, чем все остальные и мыслил не по-колхозному.

Семья Пановых считалась в Ветлужье зажиточной, в собственности имела пять десятин земли, три рабочих лошади, две коровы, овец, кур, свинью с поросятами, сенокосилку, жнейку, на двоих с соседом – молотилку. В страдную пору нанимали из бедных семей двух-трёх работников.

Бедствовали в деревне, как правило, больные, многодетная безотцовщина. Часто встречалось такое, что огород при доме зарастал лебедой, а дети-подростки с торбами побирались по деревне милостыней. Если кто нанимался на работу, то получал за это хлеб, другие продукты. Отец платил и деньгами. Он, бывало, шутил: «вот подрастёт у меня Иван, будем сами управляться».

Но пробил час, и местные власти стали перевыполнять планы по раскулачиванию, зачисляя в кулаки тех крестьян, кто крепко прирос к земле, с прибытком вёл домашнее хозяйство. Нажитое частным путём имущество изымали в общественную пользу.

Пришёл и другой час. И нашлась власть, которая указала: теперь можно растащить всё, что под нажимом стаскивали в кучу. «Стаскивали семьдесят лет и больше, много стащили, большая куча получилась. А растащили за четыре года», – почему-то нехорошо, не к месту весело подумал

Панов. И продолжают растаскивать, вырывая из рук друг у друга не принадлежащее им. Репрессий, вроде, нет, а народу убывает по миллиону в год. Кто сам выбывает, кого убивают. Посмотришь на умирающую деревню и на вновь зарастающие лесом поля – ведь беда на пороге!

Своеобразный реванш за коллективизацию, за социализм, за соблазн народного равенства?

«Вот здесь-то полное безвластие и благодать, – продолжал весело ёрничать сам с собой Иван Михайлович. – Хочу – вытяну ноги, хочу – подогну под себя. Река Носка рыбой накормит». Может от этих мыслей и весело стало Панову, кулацкому сыну. На брошенной всеми земле.

Совсем уж стемнело. Край неба, где невидимо плавилось солнце, ещё алел, под цвет ему дотлевали угли в костре. Пора ложиться, решил Иван Михайлович. Завтра его ожидают большие дела.

Заснул быстро. Безмерно время крепкого сна. Ещё пребывая по другую сторону от реальности, Панов снова услышал, как от деревенского пустыря мимо его обителища и дальше по несуществующему мосту прогремела колесница. Когда он силой заставил себя очнуться, всё уже стихло. Машинально вскинул глаза на светящийся лоскут неба: серая сова с мутными отсутствующими глазами сидела на вчерашнем месте. Панов кашлянул, сова с шорохом

свалилась за стену. «Чей-то мир я тревожу своим присутствием, – подумал Иван Михайлович, и, откинув с лица сетку, бессознательно прочертил над собой знак креста. – Уж не комендант ли Мирончик призраком стережёт здесь покой усопших поселенцев? А ты думал, что утёк от власти...» – Подумал так и усмехнулся.

Над Ноской стелился неплотный туман. Прохлада медленно отступающей ночи бодрила набрякшее сонной тяжестью тело. Хотелось быстрее войти в реальность наступившего утра, но ватные, нерасходившиеся ноги сопротивлялись его поспешанию.

Не разжигая костра, чай пил из термоса. Металлический баллон хорошо сохранял температуру, парок клубился над кружкой, омывая влажным теплом лицо.

Хлеб уже начал подсыхать и Иван Михайлович доедал его, прикусывая остатками колбасы. Когда выходил на середину пустыря, низкое солнце уже слепило глаза. След от его сапог тянулся за ним по росной траве. Где ему остановиться, было подсказано наитием. «Вот здесь», – вслух повторил эту подсказку Панов и лопаткой наметил квадрат в траве.

Глянул на тенистую стену сосен за краем квадратного пустыря, и росный след пополз за ним туда, где в чащобе тянулись к небу молодые,

прогонистые сосенки. Он без труда спилил острой ножовкой одну, отмерил шагами трёхметровый конец ствола, отпилит и его. Ему никогда не доводилось делать крестов, и теперь задумался: какой он должен быть: четырёх или шестиконечный? Для шестиконечного надо было отпилить от ствола ещё два конца, один короче другого.

Теперь надо было ошкурить и огранить концы. Иван Михайлович вытащил их на затенённую лесом опушку. Длинный конец при этом дался ему с трудом – ствол бы спилен не тонкий, а с расчётом на огранку и на долговечность креста. Чтобы простоял, по меньшей мере, полсотни лет. А там невесть чьей будет эта земля, пугают, что может быть и китайской, упаси Бог. Имперские амбиции у нынешней власти разумными практическими деяниями не подкрепляются, будто их сшибает какой другой интерес. Территория людьми не обрастает, а свято место пусто не бывает.

Когда шёл к дому за топориком, роса с травы уж испарилась. Принимаясь за работу, он мысленно отвёл на неё весь день. Набухшая смолой и соком кора легко сползала с влажного ствола, белая округлость дерева жирно лоснилась и источала сладковатый смоляной аромат.

Отщепить Панов решил только одну грань у столба, на ней он сделает горизонтальные запилы для титлов – вспомнил, как по-старинному

называли вставляемые напересечку основному брусу горизонтальные концы. Нижний должен быть наклонным – Иван Михайлович задумался: правый или левый конец наклонного бруса опускается вниз. Так и не вспомнил. Примерял на себя крестное знамение, и получалось, что персты прежде прикладываются к правому плечу, а после, рука как бы опускается при движении влево. Решил, что и поклонный крест надо сотворять по такому правилу. Всё равно оставалось сомнение: считать с востока, куда он повернёт лицом крест, или от обратной стороны. «Ах ты, нехристь несусветная», – незлобно ругнул себя Панов и подумал, как много надо узнать человеку, пока живёт на земле.

Не заметил, как солнце оттеснило тень с опушки. Стало нестерпимо жарко. К тому времени кора была спущена со ствола и одна грань на вертикальном брусе отёсана. Получалась она не совсем ровная. Топориком Панов не часто после детства баловался, не было такого заделя. Но сноровку всё же, как взялся за топориче, почувствовал: в детстве всё, что хочешь, срастается с человеком навек. Как помнил, отец, бывало, так пройдет вдоль бревна, что рубанок после не требуется. До такого мастерства ему далеко, но всё же первой заготовкой для креста он остался доволен.

Подшло время обеда. Иван Михайлович даже обрадовался передышке, не столько от усталости,

сколько от жары. Упрощать свой быт спешкой он изначально зарёкся. Время, как и всё это безмолвное пространство, теперь принадлежало ему.

На обед ещё сгодилась вчерашняя уха в котелке, прикрытом стеблями крапивы. Без труда развёл костёр, поджарил на прутике пластиночку сала. Воды для чая в кружке накипятил, чтобы осталась и на вечер.

Пообедал. Сидя вздремнул, прислонившись к стене сруба. Баловать себя долгим дневным сном сразу зарёкся, августовская ночь уж не короткая, успеется бока отлежать. Ещё сидя, подумал: холодна ли вода в Носке? Ильин день уж прошёл, по обычаю купаться поздновато. Но жара стоит...

Размяв замлевшие от неудобного сиденья ноги, побрёл к берегу. У омуточка, где вчера рыбачил, берег сразу нырял вглубь, для купанья это место не годилось. Обогнув черёмуховый куст, взял левее, вниз по течению. Сквозь ветки ивняка засветился плёсик. И подход к воде был пологий.

Раздевшись, смутился от наготы. Но ещё больше смутила старческая худоба тела. Никогда не холил себя, другими заботами была заполнена жизнь. Может, и зря. Ну, что уж теперь жалеть, какой есть, не перед кем выставляться.

И только так подумал, из-за кромки леса вместе с внезапным гулом выпорхнул вертолёт. Иван Михайлович не знал, куда кинуться, ноги сами

утащили его в реку, он даже не успел ощутить озноб от воды, а уж тем более не поостерёгся глубины. Плавать он умел, не утонул бы, но глубина оказалась до плеч, и дно было песчаным.

Пилот не иначе как заметил его, Панов понял это по мгновенному всхлипу мотора, как будто готового уронить на землю маленькую, словно игрушечную кабинку с горизонтально торчащим из неё костылём. Но гул снова выровнялся, и вертолёт буквально завалился за противоположную кромку леса.

Такие маленькие вертолёты Панов видел только на телеэкране, когда показывали какие-либо милицейские операции или патрули лесоохраны. Не иначе как этот вертолёт имел прямую связь с той буровой вышкой, про которую ему говорил на берегу Иртыша шкипер. Наверное, она находится недалеко, но так как с той стороны не слышно было никаких звуков, которые могло бы уловить ещё чуткое ухо Ивана Михайловича, не так и близко. Но теперь была разгадана тайна раннего утреннего гула, который примстился ему, как грохот призрачной колесницы.

Вода в реке была не так уж и холодна. Поплескавшись по-молодецки, Иван Михайлович поспешил одеться, опасаясь быть вновь застигнутым в неприглядном виде некими незнакомыми людьми. Но вертолёт до ночи так и не появился. Иван

Михайлович остаток дня провёл за работой. Ладони его покраснели от топора, и он приспособился защищать правую руку листом лопуха. Намеченное на день было выполнено – два поперечных бруса были отёсаны с четырех сторон, вертикальный, как он и решил – с одной. Карандашом Иван Михайлович прочертил линии запила для поперечин, но пилить не стал, хотел утром тщательно промерить всё заново.

Вечерняя зорька была оставлена для рыбалки. Однако клёв долго не начинался. Иван Михайлович настелил сухой травы на обрывистом берегу. Теперь можно было сидеть на настиле и даже свесить с обрыва ноги. Наконец, небольшая плотвичка взялась на червя. Иван Михайлович, нацепив её на большой крючок, насторожил вторую удочку на щуку. Леску привязал к таловой ветке поближе к воде.

Мысли при этом были вялые, покойные. Но что-то приятное таяло в глубине души. Может, это была удовлетворённость, что всё идет, как и задумывалось. Или то, что в его одиночество вдруг вторгся этот вертолёт. Своё пребывание здесь Панов никак не связывал с его появлением, но какой-то знак цивилизация ему всё же подала.

Клёв начался стремительно. Один за другим брались окуни. Панов с детства любил этот клёв. Окунь не церемонится с поклёвкой. Поплавков

вздрагнет разок-другой и рывком уходит под воду. Тут даже не нужна подсечка – окунь уже твой. Поднятый над водой, он извивается и не даётся в руку, его лучше сразу на крючке бросать в траву.

Таловый куст вдруг ожил. Ветка с привязанной к ней леской согнулась в одну сторону, затем в другую. Не развязывая узла, отломил её и потащил на себя. Леска натянулась и врезалась в набухшие от топора пальцы. Иван Михайлович отступил на шаг назад, и когда ноги оказались на травянистом берегу, начал изо всех сил тянуть добычу из воды. Леска маятником ходила туда-сюда, пока на поверхность не вынырнула голова огромной щуки. Зубастой пастью она хватала воздух, наконец, последний раз хлестнула хвостом по воде и плашмя заскользила за леской по траве.

Щука была полуметровой длины. Порадовался удаче. Через полчаса кипящая вода весело выплёскивалась из котелка, и Иван Михайлович бросил в неё окуней и голову щуки. Остальную часть большой рыбы решил испечь в золе, завернув в припасённую для этих целей фольгу – опыт голодных послевоенных лет выручал его во всех отношениях, правда, фольги тогда не было, приспособлялись, когда это случалось, печь рыбу в капустных листьях.

Ужин сегодня у него был из двух блюд, окуньков даже выбросил, прихлёбывал мясистые куски запечённой щуки наваристым рыбным

бульоном. Не потребовался и чай.

Спать лёг ещё засветло, надеясь утром не пропустить пролёт вертолёта – к нему у Панова появился интерес, как говорится, «на авось». Но вертолёта не было. Сова тоже не показалась. Что-то, знать, нарушилось в этом мироздании. Вдобавок ко всему, солнце, едва поднявшись, спряталось за тучу. Вот чего не хотелось – это непогоды. И росы на траве тоже не было – всё склонялось к тому, что пойдёт дождь.

Хотелось успеть доделать крест. Выпилил и выщепил гнезда для связки брусьев. Соединение получилось плотным, гнездо в гнездо. Перекрестья поверх поперечин подстраховал скобами. Гвозди не сгодились. Добротный, настоящий крест лежал на зелёной траве, и Панов торжествовал над ним.

Стал копать ямку. Прежде срубил на опушке молодую сосенку, ошкурил и вбил его в раструб лопаты – получился новый, по росту, черенок. Теперь инструмент к земляным работам был готов. Поставить крест концом в яму оказалось не так-то просто – был он тяжелый и скользкий от смоляной мездры. Иван Михайлович положил его концом на ямку и стал поднимать за верхний конец. Нехорошо подумал про себя – стар стал, ноги дрожат, руки на вытяжку под тяжестью не разгибаются. Пристроил конец на плечо, постоял, соображая, как сделать перехват поближе к середине. Это ему удалось.

Нижний конец вертикального бруса упёрся в край ямки. Теперь важно, чтобы руки не соскользнули – надо было сделать ещё один перехват. «Ну, родная», – скомандовал себе Панов, напрягся, разгибаясь и принимая тяжесть на руки. Конец вертикального столба соскользнул в ямку. Всё! Осталось выпрямить крест, засыпать и утрамбовать землю.

И как раз в этот момент с неба упали первые капли дождя. «Успел, слава Богу», – говорил сам с собой Иван Михайлович. Пока земля не намокла, стал трамбовать рыхлую массу в ямке концом черенка лопаты. Рубаха сразу намокла, холодные струи воды потекли под ремень и по ногам – в сапоги. Дождь сразу принялся спорый. Загремела и прокатилась по небу гроза. Схватив в охапку инструменты, Панов побежал к дому. Добежать оставалось всего несколько шагов, как к горлу от живота поднялся неприятно дёргающийся комок, в глазах помутилось. Он выронил лопату и топор. Ножовка больно скребанула по колену. Ещё несколько шагов он не бежал, а, казалось, плыл. Доплыл, ноги ступили на мокрые доски, вчера постеленные им вместо сгнившего крыльца, и он ввалился в кривой без косяков проем двери, последним усилием отполз от него на сухие половицы и потерял сознание.

Очнулся от озноба. Мокрая одежда прилипла к телу, лицо и шея саднили от комариных укусов.

Частый неровный пульс шумно торкался в уши. Было сумрачно. Панов приподнялся, опершись на локоть, сел. Прикинул: если гроза началась в середине дня, а сейчас уже вечерело, то он пролежал в беспамятстве часов пять. Много. Не случавшийся уже года полтора сердечный приступ ещё ни разу так надолго не выводил его из себя. Подумал: «неровен час, можно и отдать концы».

Прислушался – гроза стихла, дождь прекратился. Опершись на руки, передвинулся по полу на полметра: в проёме двери на темном фоне леса крест излучал бело-розовое свечение. Прилив радости вернул Панову силы. Он поднялся на ноги.

Первым делом решил снять сапоги и мокрую одежду. В рюкзаке у него лежал трикотажный тренировочный костюм. Дома иногда надевал после бани, а с собой взял на всякий случай, закатав в полиэтиленовый пакет. Вот, оказался кстати. Тело сразу почувствовало тепло. Надел сухие носки, обул ботинки. Держась за дверной простенок, шагнул за порог. Глазам открылось широкое небо, ещё затянутое рваными тучами, но западный край этого полога был уже чуть приподнят вечерней зарёй. Это от неё, всё больше розовея, светился посреди серого пустыря сотворённый Пановым крест.

Вокруг было мокро. Чтобы разжечь костёр, Иван Михайлович вынес из дома пол-охапки сухой травы, бережно положил её на подстилку

из досок. Вспомнил, что топор он бросил где-то в траве, когда убегал от дождя. Трава была мокрая, и потребовалось снова обуться в сапоги. Нащепал лучин от сухой доски, положил их поверх травы. Всё это делал не торопясь, словно священнодействовал. Язычок огня от спички нырнул вглубь пучка травы и высунулся оттуда шипящей стружкой пламени, сразу вцепившегося в тонкие ребра лучин. Пламя затрепетало, разрослось, и с шипением принялись гореть наломанные куски досок. Когда костёр набрал силу, Иван Михайлович стал налаживать вешала из жердей для просушки одежды. И сам с наслаждением грелся после погружения в леденящее забытьё. «Интересно, – подумалось ему, – если я был уже по ту сторону света, то почему ничего не видел, не запомнил? – Решил: значит, ещё не был, не пришло, знать, время».

В этот момент послышался странный зуммер с хлопками, перерастающие в мощный гул. Вертолёт завис прямо над домом. Он так висел с минуту, но не снижался. Панов, задрав голову, смотрел на него, стараясь разглядеть за стеклом кабины живое лицо пилота. И даже махнул вертолёту рукой. Но этим жестом словно спугнул железную птицу, она, выбросив в пространство несколько беспорядочных хлопков, улетела. Панов подумал: «Какое-то есть у неё заделье, если даже под самые сумерки прилетела сюда». И заключил: «Не иначе, как крест

и любопытство завлекают. Ну, и что вы узнали? – говорил вслух Иван Михайлович. – А ничего. Прилетите, голубчики, ещё».

Вертолёт теперь станет особым объектом внимания Панова.

Следующий день прошёл в вольных занятиях. Ходил по пустырю, со всех сторон любуясь творением рук своих. Ел в бору ягоды. После обеда рыбачил, наловил на живца с десятков чуругаек и посолил их для подвяливания. В детстве он любил вяленую щуку, но, кажется, с тех пор и не ел.

Вертолёт прилетел в конце следующего дня. Повисел над пустырём и начал снижаться. Вместо колёс у него были две лыжи, они утонули в бьющихся под лопастями волнах травы. Иван Михайлович выжидательно наблюдал, как на землю спрыгнул немолодой полноватой комплекции мужчина. Он представился начальником геологической партии Матушкиным Игорем Петровичем. За ним крадущейся походкой по траве пробирался худой, юркий недоросток в белой ветровке: пилот, как сообразил Панов. Он подал обоим гостям руку, извинился за таёжную запущенность своего вида. «Четвёртый день не брился, одичал» – «Да вы в городе сошли бы за профессора». С такого диалога началось общение, и смущение Панова как рукой сняло.

Матушкин, услышав рассказ старика о себе, о цели своего путешествия в эти края, с неподдельным

восторгом смотрел на крест. Наконец, дружелюбно, покровительственно обнял его за плечи. Потом они постояли на берегу, где Панов похвастался рыбалкой. Лопасты винта медленно вращались, слегка волнуя траву на пустыре. Наверное, так было не положено оставлять машину, и пилот, махнув рукой, так же крадучись начал по траве пробираться обратно.

Игорь Петрович предложил Панову слетать к ним на буровую. Отказаться было бы невероятно. Не в гости хотел Иван Михайлович, а, поднявшись над лесом, с высоты осмотреть эту местность. Вот счастье так счастье подвалило! После и помирать не жалко. И за всё это он обязан своей давней мечте – поставить здесь поклонный крест. Не зря его зовут поклонным. Только появился, а уже с неба приманил к себе людей поклониться. И ему подарит такую невидаль.

Так думал Иван Михайлович, пока спешно прибирал в дом принадлежности своей походной кухни: котелок, кружку, термос. Удочки решил оставить на берегу: начальник партии пообещал завтра вернуть его обратно.

Вертолёт поднимался всё выше и выше, и пространство над лесом всё расширялось. В голубой дали заблестела ровная полоса Иртыша. К нему, петляя среди тайги, пробиралась затенённая Носка. Где-то далеко-далеко совсем уже в тумане

угадывались смутные очертания каких-то поселений, расстояния до которых невозможно было угадать.

Или пилот сам оказался таким догадливым, или Матушкин ему подсказал, но вертолёт долго поднимался по вертикали ввысь, делая плавный горизонтальный разворот, и Панов из кабины хорошо рассмотрел местность во всю её огромную ширь. Сейчас он будет явственно представлять, в каких глубоких таёжных урочищах власть хоронила неудобных для себя людей.

Вертолёт начал горизонтальное движение, тайга поплыла назад и чуть влево. Прошло каких-то десять минут, и внизу нарисовался объект неведомой Панову деятельности. Он сразу подметил необычную манеру общения с природой при огромной силе человека. Картина была, как на войне. Лес с корнями выдеран из земли и вповалку лежал вокруг площадки, посреди которой стояла буровая вышка. На удалении от неё под лапами сосен виднелись три жёлтых балка. В другой стороне также под соснами стояли два трактора на широких гусеницах. Земля на площадке вокруг вышки была изрыта и полита зеленоватым жидким раствором. Развешенные на верёвках простыни были признаком элементарной заботы о суровом таёжном быте нескольких мужчин в жёлтых под цвет балков касках и синих комбинезонах. Они никак не отреагировали на садящийся вертолёт – так

были заняты своим делом, которое, несомненно, требовало к себе внимания, более почтительного, чем к прибытию вертолѐта.

Садилась на квадрат с бревенчатым настилом. Лопаста винта, остановившись, обвисли, и вертолѐт стал похож на паука с зелёным надутым брюхом. Матушкин, прыгнув на землю первым, поддерживал Панова за руку, когда тот нащупывал ногами ступеньки вертолѐтного трапа. Только сейчас несколько мужчин обернулись, и начальник партии весело ответил на это:

– Вот, братцы, снежного человека мы с Лѐшей обнаружили в тайге.

– Да ну! – Так же шутливо отозвался один из подошедших буровиков.

– Прошу принять, – сказал Матушкин, – Иван Михайлович Панов.

В образовавшемся моментально кругу Панов действительно чувствовал себя одиноким неандертальцем, хотя эти люди с неподдельным дружелюбием принимали его, сдерживая таящееся у каждого за душой любопытство.

Матушкин предложил баньку с веничком. Панов, чтобы не расстраивать лад гостеприимства, согласился. Пока кто-то там хлопотал о парке и веничках, Матушкин подвел гостя к вышке. Снизу казалось, что она плывѐт или падает на фоне парящих над ней облаков. От её вершины вниз

спускалась вращающаяся и при этом медленно вонзающаяся в землю труба. Слово «бурение» не требовало дополнительных пояснений. Матушкин только сказал, что «прошли» уже тысячу метров, но нефтеносные пласты здесь значительно глубже. После этих слов Панову стал понятен азарт труда этих незнакомых ему старателей.

Баня была сооружена в походном варианте. Матушкин говорил, что есть у геологов балки со специально встроенными банями, но на этой точке за неимением такового ребята соорудили упрощённую.

– Но это не значит, что простую, – подчеркнул Игорь Петрович. Париться любите?

– Да приходилось иногда, – поскромничал Панов, – но сейчас уж какой с меня парщик!

Банька действительно оказалась непростой, Панов вспомнил фронтовые блиндажи под Яссами. Наполовину они были вкопаны в землю, а сверху в три наката, как в песне поётся, – брёвна. Печка в баньке размещалась в углу и много места не занимала. Топка выведена наружу и подход к ней был по специальной траншее. Котёл заменяла столитровая бочка с вваренной в неё трубой, конец которой был погружен в жерло печки. Вода нагревалась путём простого обмена – холодная затекала в трубу, и, нагревшись, со странным

звучком выбулькивала обратно в бочку. Рядом с полком из оструганных осиновых досок стояла такая же столитровая бочка с холодной водой. Вода, как пояснил завхоз – прихрамывающий на одну ногу, с морщинистым не по возрасту лицом Васька – подаётся насосом из скважины, пробуренной до того, «как стали на точку».

– Я здесь один постоянный, – объяснил Панову Васька, – все остальные – вахтовики, две недели тут, две прохлаждаются по домам, кто где, большинство – по деревням. В деревнях-то сейчас, как колхозы развалили, мы не сеем и не пашем. Делать нечего. А баня – моё изобретение. С других точек прилетали перенимать опыт.

Васька предложил Панову «располагать им, если нужно будет попарить или что подать». Веники были летние, искусно подвяленные, а теперь хорошо запаренные. Васька принёс белую простыню вместо полотенца. Панов парился, не перегружая себя жаром, берёг сердце. Давно уж не бывал в бане, дома мылся в ванне, сын как приезжал в отпуск ещё при жизни матери, купил и поставил электронагреватель. Да и баню в льнозаводском поселке, как перестал работать завод, закрыли, чтобы попарится надо было ходить в Ветлужье, в колхозную. Сосед иногда приглашал с собой на машине, но он был намного младше, Иван Михайлович понимал, что он молодому –

не компания, рано или поздно может показаться обузой, и сознавать это и разочаровываться в соседе будет обидно.

А в этой парной ему показалось так хорошо, что век не покидал бы её... Окошко в бревенчатом накате начинало темнеть, затем ярко осветилось – на площадке зажгли огни. Панов одевался, жалея, что его изношенная роба не стоит полученного удовольствия. Васька поджидал его у выхода, и проводил в балок. В комнате рядом с Васькиной стояла чисто заправленная кровать для него. Хозяин предложил гостю свою электрическую бритву – добрый, судя по всему, человек был этот Василий, Панов не посмел его называть, как все, Васькой.

Зашёл Матушкин, позддравил с лёгким паром и позвал пить чай. В одном из балков была просторная комната, посередине стоял стол человек на десять, за перегородкой без двери находилась кухонька, где хозяйничал всё тот же Василий. И как он всё успел – уж и котлеты поджарил, и чай – в одном чайнике кипяток, в другом заварка со смородиной – приготовил.

– Это у них кают-компания, – пояснил Матушкин. – Шеф-поваром – Василий, ему каждый день по графику назначают помощника. Вот такой вахтовый быт.

Панов обратил внимание на слово Матушкина

«у них». Значит, он здесь – не постоянный, может квартировать и на «других точках», а точек таких по здешнему Урайскому нефтеносному бассейну с десяток. Как после расскажет Панову Василий, по всему тюменскому северу геологи ищут «второй Самотлор, где бы нефть сама изливалась, но природа повторяться не хочет».

В балок заходили и рассаживались вокруг стола загорелые, крупные, как на подбор, молодые мужики. Среди них один Леша-вертолетчик ростом казался с лилипута. Но он брал своё раскованностью общения, шутил, подначивал, чувствовалась «слётанность» с начальством. Несмотря на малый рост, Леша в компании было вполне достаточно. Как после расскажет Василий, на эту площадку раз в две недели прилетает большой вертолёт «Ми-8», привозит сменную вахту, а эту отвозит в Тюмень, часть высаживает в Урае, часть – в Упорове. Когда надо трубы подвезти, или ещё что, занаряжают грузовой вертолёт «Ми-4». Лешина «птичка» в основном обслуживает начальника партии, да продукты развозит по точкам.

Сквозь открытую дверь в балок долетали звуки работающих лебёдок, под вышкой оставались два-три дежурных вахтовика. Матушкин, извинившись, объявил специально для Панова, что у них «сухой закон», но ему после баньки «по-суворовски» положено. Иван Михайлович жестом и словом

воспротивился, сказал, что такой закон приветствует, хорошо бы его распространить и пошире, на что Игорь Петрович снисходительно заметил, что они, то есть буровики, в перерывах между вахтами «своё добирают». Кают-компания развеселилась.

Матушкин незаметно подвел разговор к тому, что Панову пришлось рассказывать о себе. Сам он не случайно с первой встречи прикипел к старику, проникся уважением, сочувствием. Иван Михайлович рассказал подробно всю историю своей семьи и многих семей, чья судьба закончилась здесь неподалёку, в глубокой тайге. А те, кто пережил комендантский надзор и вырвались со временем из под режима, рассеялись по свету. Люди зачастую стыдились признаваться, какого они рода-племени.

В нависшей тишине прозвучала фраза, которая Ивану Михайловичу показалась весьма образной и в такой же степени примитивной. Он её будет помнить и осмысливать до последнего своего часа. Произнес её сидящий в самом углу человек с неприбранными после снятой каски вихрами волос:

– Не страна у нас, а колесо какое-то. Крутят его, крутят... То революция, то война, то строй, то перестройка...

– А всё от того, что своего, исконно русского образа жизни чураемся, нам европейский, да заокеанский подавай, – рассудил сидящий рядом с Пановым молодой блондин со стреляющими

навыкاته глазами. Это уже было мудрёно, компания, похоже, задумалась. Никто мысль не подхватил, хотя пауза тому вполне соответствовала. И блондин продолжил речь:

– У нас в колхозе было двадцать семь тысяч гектар земли. Я трактористом работал на К-700. Жена на ферме коров доила. Молокопровод, механизация, с выходными днями, как в городе. Ну, не колхоз, а культурное предприятие со всеми причндалами. Квартир понастроили бесплатных – прибыль позволяла. Дом культуры, школа-десятилетка, медицинская амбулатория...

Панов подумал: как будто про Ветлужье рассказывает, там ведь тоже всё было по уму – и школа, и амбулатория, и квартиры. Он в последние годы немного ездил по весям, но, выходило, что и в других местах жизнь сельская обретала какой-никакой порядок. Строй, как выразился первый оратор, который – это уж точно – если и надо было перестраивать, то не разрушая до основания. Мысль была не закончена и блондина никто не перебил:

– Где-то в девяносто первом, девяносто втором ли сказали нам, что колхозы для сельского хозяйства не годятся, давайте землю разделим на паи. Земли моей семье досталось аж двадцать четыре гектара. А трактор колхозный у меня отобрали...

Кто-то неуместно хохотнул. Воспроизведенная картина могла показаться диковинкой только кому-

нибудь из городских, бывшим селянам она должна быть хорошо знакома. А, как оказалось, здесь большинство из присутствующих были селянами. Землепашцы стали буровиками. Растили хлеб, теперь ищут нефть и газ. Однако оратору дали закончить рассказ:

– В девяносто четвертом году колхоз обанкротили, нашего председателя посадили в тюрьму, управлять нами стал кризисный менеджер, прости господи. Коровы пошли на мясокомбинат, животноводческий комплекс разорили, фермер один до сих пор мается с сотней коров, но молоко обесценено, разорился горемычный. Интересовался у меня, как бы в буровики податься. А у нас все мужики, кто не спился, на отхожие промыслы подались, в основном в нефтянку. Раньше здравпункт, аптеку, все бытовые причиндалы содержал колхоз, сейчас государство содержать не хочет, персонал сократили.

– Выходит, что и люди не нужны, – подытожил густой, «поповский» бас...

Расходились, молча: кто спать, кто – продолжать ночную смену. Матушкин, пожелав Ивану Михайловичу хорошего сна, намекнул, что утром «будет один разговор».

«Разговор» до глубины души растрогал Панова. Матушкин предлагал поставить на пустыре, на

берегу Носки, вместо деревянного, металлический крест. Сейчас он даст ребятам команду, мигом автогенном сварят крест из швеллера, от него, Панова, требуется только задать размеры.

Иван Михайлович оторопел. Глаза моментально набухли, затуманились. Стыдясь слабых старческих слез, отвёл взгляд. Матушкин же затвердил:

– Решено. И мы это сооружение десантируем в нужное место.

Как он собирался десантировать – Панов не догадывался. В Лешином вертолете такого приспособления, чтобы загрузить в него, по меньшей мере, трёхметровый крест, нет. Большой вертолёт «Ми-8» с новой вахтой будет через неделю. Иван Михайлович рассчитывал убраться домой самое позднее через три-четыре дня.

Между тем, двое буровиков уже промеряли рулеткой куски швеллера. Панов, как было велено, отсчитал шагами три с половиной метра, мужики тут же перемерили его рулеткой и шипящей струей огня полоснули по сделанной метке. От швеллера оставалось ещё два с половиной метра, и Панов распорядился разрезать оставшийся кусок на три части. Мужики потребовали нарисовать эскиз, не доверяя прикидке «на глазок». Иван Михайлович прочертил на ладони вертикальную линию

и пририсовал к ней ещё три – одну, сверху, короткую, вторую – примерно, на размах рук, и третью, с наклоном, покорооче второй. Крест у него теперь будет восьмиконечный.

Всё делалось старательно, с тщательной промеркой. Сварщик предложил даже срезать в местах перекрестий рёбра металла, чтобы соединение получилось без большого выступа. Он это выполнил с поразительной точностью.

– Талант не пропьёшь, – пошутил напарник, и все дружно рассмеялись, смех поддержал и возникший рядом с двумя банками краски Матушкин.

– Здесь ещё чего-то не хватает, – сказал начальник партии, когда поперечные концы были приварены автогеном. – Иван Михайлович, какие бы слова подошли здесь, ведь это будет памятник на века. Нефть мы здесь найдём, я ручаюсь. И может быть откроется промысел, появятся в этих местах новые люди. Пускай читают. Ведь такая страница истории!

Панов не рассчитывал на подобную патетику, но предложение опять растрогало его до слёз.

Крест был покрашен чёрной эмалью. Ушла под краску естественная ржавчина на металле, изделие выглядело, торжественно, даже величественно. Рядом натужно гудели механизмы буровой, звякал поднимаемый лебёдками металл, глубже и глубже

вонзалась в землю постоянно наращиваемая труба с буром на большой глубине. Трудно было представить Панову, что куда-то в тысячеметровую толщу планеты метр за метром передаётся с её поверхности энергия вращения, и её посылают туда его вчерашние собеседники, которых, как он заметил, до боли трогают такие же как и у него земные заботы.

По идее Матушкина, на верхнее перекрестье брусьев был наложен и приварен лист для текста. Иван Михайлович предложил такую надпись: «Путник, поклонись! Здесь был посёлок Носка, в котором отбывали ссылку труженики земли российской!» Подумал и поправил: «крестьяне земли российской».

Пластину прежде покрасили белой эмалью. Затем позвали Лешу вертолётчика. В каждом из этих таёжных старателей жил свой неповторимый талант. Поверх моментально подсохшей эмали Лёша старательно вывел каждую букровку текста. Только он предложил указать годы ссылки. Предложение нашли уместным. Иван Михайлович назвал 1930 год, когда ссыльных пароходом привезли сюда, а потом пешим ходом по ещё непросохшей после снега тайге препроводили на берег реки Носки, где нашлось три-четыре домика какого-то старого поселения местных старообрядцев. А вот каким годом обозначить окончание срока, он

замялся. Если реабилитация репрессированных начиналась после 1956 года, то не будет ошибки, если эта дата будет венчать обозначенный на кресте срок. Так и было решено, Леша написал «в котором с 1930 по 1956 г. отбывали...» Многие так и остались отбывать эту ссылку навечно...

После короткого завтрака стали собираться к отлёту. Ещё до того как зайти в балок, Иван Михайлович знал о придумке геологов, видно, подобные транспортировки негабаритных грузов им выполнять было равно пустяку. К кресту был привязан тонкий, как жгут, трос. Леша с Матушкиным отмотали от бухты столько длины, чтобы при посадке до приземления положить крест и, отшагнув от него ещё по воздуху, опустить машину на безопасном удалении.

Для прощания на площадке выстроилась вся вахта. Василий в последний момент сунул в руку Ивана Михайловича увесистую торбу, в волнении тот даже не успел отреагировать на это, спохватился уже в кабине.

Со свистом запустился мотор. Вертолет, медленно подбирая с земли трос, зависал в воздухе. Матушкин из кабины следил за взлётом. Панов подумал: «небывалая картина – крест в небе». Он машинально улыбался, и Матушкин заметил эту улыбку. И ему тоже стало хорошо, покойно на душе.

Сели легко. Матушкин выпрыгнул на землю уже с лопатой в руках. Трос был отцеплен сначала от подбрюшья вертолѐта, затем пилот ломиком распустил захлестнувшийся узел на кресте и все втроем волоком потащили его на середину пустыря. Ямку копал Лёша, шустро орудуя лопатой. Земля была мягкая, жирная. На полметра в глубину она была черна и словно пропитана смолой. Потом пошёл бурый, рассыпчатый слой, и Лёша сделал вывод, что конец креста они ещё смогут на полметра «вдолбить» с помощью его собственного веса. Под команду поднимали и опускали крест они вдвоём с Матушкиным, Лёша, маленький, брал ствол в охапку у основания, Игорь Петрович упирался руками в нижний горизонтальный титл. Из ямки раздавались ритмичные всхлипы – подножие креста погружалось во влажную землю.

– Хорош, – скомандовал Лёша и стал забрасывать ямку вынудой землёй. Игорь Петрович, ходил вокруг, выправляя вертикаль. Панов замороженно смотрел на всё это, и из глубины души у него исходило одно-единственное слово: «Господи, Господи...» Молитвы он не знал никакой, но он так молился.

Матушкин с Лёшей отсюда улетали «по точкам». Начальник партии заверил, что они ещё встретятся. Панов намечал, что пробудет здесь ещё два дня. После того, что геологи для него сделали,

большого времени и не требовалось. К тому же, ему было обещано, что идти обратно по тайге к Иртышу и ждать «Ракету» не потребуется, с вертолѐта его высадят в Упорове или даже в Тюмени и он цивилизованным путѐм доберѐтся до дома.

«Вот везенье, так везенье, – думал он, – святому делу и добрые люди навстречу».

Он подобрал оставленную Лѐшей лопату, поднял из травы полиэтиленовую сумку – подарок Василия и побрѐл к дому. В доме к запаху сена прибавился ещё какой-то ненавязчивый аромат. Панов вспомнил про рыбу, подвешенную на леске в углу. Подвялившиеся щучки вызвали прилив аппетита. Иван Михайлович решил проверить содержимое сумки. Там он нашѐл буханку хлеба, пару луковиц, кусок сырокопчѐной колбасы и завѐрнутую в газету четвертушку водки. Подумал: при сухом законе Василию, наверное, приходится держать такой продукт в глубокой норе. «Ай да Вася, знать, от сердца оторвал».

Обошѐл свои владения. Удочки и всё, что оставлял, было на месте. Как помнил Панов, в Носке и прежде запоров на двери никто не прилаживал. Усмехнулся: традиция передалась через шесть десятков лет. Вспомнил разговор за столом в балке у геологов, – «А вот «колесо» ой как прокрутилось...».

Стал разводить огонь. Зола на месте кострища

была размётана, значит, ветерок заглядывал в гости. Дождь, слава Богу, только один раз пожаловал за все дни, с погодой повезло.

Щепки и поленья были сухие, занялись сразу. Дымок поплыл к реке и, рассеявшись, – дальше, на заброшенные покосы. «Вот, куда надо бы ещё сходить, – подумал, – но это если брод найдётся через Носку».

Только сейчас, распрямившись, издали посмотрел на пустырь. И показалось ему, что два креста рядом выглядят как-то нелепо. Нет эффекта внезапности при мимолётном взгляде, излишество придавало картине обыденность. Панов решил: деревянный крест он выкопает и переставит на кладбище.

Хорошее было решение. Аккурат под аппетит. Алюминиевая кружка напомнила вдруг фронттовую обстановку. Панов открутил крышку на четвертушке, налил на донышко. Донышко было широкое, содержимого в четвертушке убавилось на треть.

Выпил. Тепло до самых пят прошло через тело, ноги сразу непривычно подомлели. Встал, распрямился, снова сел. Стал закусывать нарезанной колбасой. Оторвал кусок пахучей подвяленной щуки.

Вернулась мысль про «колесо». Философия утверждает, что общество развивается по спирали. С каждым витком оно как бы становится совершенней.

Это какой же силой совершается этот подъём?

Абстрагироваться у Панова никак не получалось. И что-то мешало опуститься с философских высот до практического осязания закона. Наконец, он догадался – что. Его понимание сущности власти. Истинную правду выделил Ключевский. Власть всегда элитарна. Но окуклившаяся во власти контрреволюция девяностых годов двадцатого века сформировала элиту потребительского класса. Она прагматична, в ней больше личного интереса, чем общественного. Пока не набьёт собственное брюхо, не жди, чтобы она поделилась захваченными приоритетами с обществом. Она как будто пропитана духом реванша за всё, что советская власть отобрала якобы для народа у прежней элиты. Теперь такие же пять процентов новой элиты взялись делить то, чем шестьдесят лет, так или иначе, владело всё общество.

За шесть десятков лет общество задремало, убаюканное идеями равенства. Оно было воспитано дисциплиной сталинского режима. А новая элита, сросшаяся с властью, сгребла под себя заводы и фабрики, создала сеть банков, наработала под себя законы. Придумала оффшорные зоны, откуда запретила вынимать наворованное. А массы бросила под ноги право собственности на квартиры, которыми они и так владели. Крестьянам – землю.

Вы хотели земли? Берите! Но прежде разрушите ту организацию труда, что придумала и создала советская власть.

Такая энергия не поднимает виток спирали. Получается колесо. Истинное колесо!

Какое же место у него, у Панова на этом колесе? А никакого. Он уже состарился вместе с той частью общества, которая построила, а потребовалось – и защитила прежнюю жизнь от внешнего врага. Он – часть засохшей корки на кровавой ране, нанесенной его предкам в самый жёсткий период того режима. Корка уже не рана. Это зажившее тело. Его отца увозили с родной земли за болото под конвоем. Теперь молодые, здоровые мужики, которых он видел на буровой, добровольно покидают её. Так провернулось колесо, стремившееся по закону быть спиралью.

И это следствие новой революции, случившейся в конце двадцатого века. Она, что характерно, вновь, как и Октябрьская 1917 года, была провозглашена с броневика.

«Колесо, ну истинное колесо!» – окончательно заключил Иван Михайлович.

Отобедав, Панов стал гадать, как ему распорядиться остатком дня. Приниматься за переустановку креста он не захотел – негоже в эти часы тревожить кладбище. А времени до заката солнца еще было достаточно, чтобы попробовать

через речку перебраться на бывшие покосы. Поваленных через русло деревьев было много, но надёжного «сухого» перехода он не нашёл.

На бережку, где прошлый раз прыгал при появлении вертолета в воду, разделся, ботинки связал шнурками и повесил на шею, одежду скатал в рулон и ступил в воду. Ай да молодец, Носка, сохранила плёсик с песчаным дном! Вода была холодна, до середины реки глубина стала до пояса. У противоположного берега ботинки, как и скатку одежды, пришлось поднять над головой. Берег был скользкий, чтобы не замочить, поскользнувшись, одежду и обувь, он выбросил их в траву и сам ползком, по-обезьяньи, выбрался на сушу.

В уши ударил птичий пересвист – со своего берега Панов, как будто, не замечал его. Утка из зарослей подала голос, и резвый выводок, рассекая воду, испуганно метнулся на этот крик. Присев на траву, надел рубаху, натянул штаны, зашнуровал ботинки и осмотрелся. Ближайший лужок, из-за которого навстречу ещё слепило низкое солнце, порядочно зарос сосняком. Деревья поодиночке и куртинами выскочили на вольный простор и заняли место былых стогов и скирд. Давно забывшая косу трава одичала, росла чертополохом и была по пояс. Панов продирался сквозь заросли дикого горошка и мятлика, поднимая в воздух застойные запахи. Из-под ног выпархивали непуганые птицы.

Панову виделись эти луга прежними, сенокосными. Уйма народа, старики, женщины, ребятя – каждый занят свои делом. Где-то и он в этой суতোлке, сидя верхом на ленивой Рыжухе, бьёт ей пятками в бока. За лошадьёу змейкой тянется по скошенной траве верёвка, привязанная одним концом к правому гужу. Он заворачивает Рыжуху справа налево, так, чтобы верёвка обогнула копну сена. И кто-то из мётчиков привязывает её второй конец к левому гужу. Тут важно вовремя приказать Рыжухе остановиться, чтобы ныряющий в траве конец верёвки оказался точно под её копытами. Тогда его не составляло труда подтянуть к хомуту и привязать. После этого Рыжуху снова надо было заставить двигаться, но уже с натугой, чего она не любила. Копна со странным скрипом сдёргивалась с места и ползла за Рыжухой к стогу, где кто-то отвязывал один конец верёвки, а копну трёхрожными деревянными вилами за три-четыре приёма худой, жилистый Архип Кутейкин на деревяшке вместо ноги, забрасывал на стог. Там, на верхотуре с вилами в руках обычно орудовала ловкая вершильщица Силиха, тётка Марфа Силина. Панов удивился, что первыми вспомнил именно их среди разновозрастной и разномастной колхозной братии.

Вспомнилась картина обеденного часа. Кто где рассаживались в тенёчке, как будто стесняясь на людях своей еды, принесенной из дому. И ему,

Ваньке, мать клала в торбу бутылку молока, две-три картошины и пучок луковых перьев, иногда яйцо или два. И у всех обед состоял из такого же набора, редко у кого можно было увидеть в руке кусочек хлеба. Иван за обедом стеснялся девчонок, и садился под стогом от них подальше.

Он догадался, почему вспомнились первыми именно Кутейкин и Силиха. К обеду Силиху спускали со стога по верёвке, и она при этом по-молодому визжала, хотя так визжать ей уже было и не к лицу. Наверное, ей самой нравились такие моменты. На стог она опять же поднималась по верёвке, которую с другой стороны держали за конец двое, а то и трое метальщиков. Наверное Силиха была незаменима на вершении стогов потому, что веса была достаточно, чтобы утапывать забрасываемые снизу навильники сена. Ну, важно было и то, что не боялась высоты и уж конечно то, что могла выводить под самое небо ровные, непромокаемые ни в какие дожди, стога. У тётки Марфы муж и сын, Васька, были тогда на войне, впоследствии ей в семью первой из всех в Носке придут похоронки.

Кутейкин же помнился своим деревянным отесанным чурбаком, привязанным поверх согнутого в колене обрубка ноги, Ногу он оставил на Финской войне. А ещё тем, что каким-то странным чутьём улавливал на покосе приближение грозы, и тогда у него единственного прорезался

командирский голос, и вся работа приобретала бешеный ритм, но при этом и чёткий порядок.

Это был, кажется, предпоследний год перед поступлением Панова в педагогический техникум. Мужики и парни из Носки, когда власть признала за ними право на это, уже ушли на самую большую войну. Старики и женщины, как казалось тогда Панову, и не вспоминали, откуда они родом, по какому случаю попали сюда. Носка стала для них местом большого, как и война, ожидания. Ожидание пригвоздило их именно к этой земле. И то, что здесь они вместе тянули общую лямку в колхозе, как бы единой семьёй, а не поодиночке – для всех ничего лучшего было и не придумать.

Солнце коснулось дальней гряды леса. Трава запахла сильнее. В душе шевельнулся страх от одиночества. Такое неприятное чувство накатывало на Панова уже не раз, и он старался не поддаваться слабости. Но вечер, застигнувший его в безлюдной шири некошеного луга, тревожил как-то по-особому. Право же, хотелось завывать волком. Панов резко повернулся и, не оглядываясь, пошёл к своему броду. Там встревожено крякала утка, её выводок, щёлкая клювами, невидимо орудовал где-то в зарослях осоки. Реку преодолевал тем же способом. На отлогом «своём» берегу, опять застеснявшись наготы, быстро оделся, босиком прошёл к дому.

У кострища попил чаю из термоса. В заварку он всегда кидал пучок белоголовника, и этим как бы причащался перед памятью детства.

Утрамбованная ямка нехотя отпускала осаженный почти на метровую глубину крест. Панов выгребал из неё землю, напрягаясь, раскачивал и тянул кверху своё произведение, которому радовался ещё два дня назад. Его выручала лопата, оставленная вертолётчиком Лёшей. Ею можно было всё глубже и глубже докапываться до подножия креста. Наконец, крест сам стал крениться набок. Теперь можно было тянуть его на себя, упираясь ногами в твёрдую травянистую землю. Ещё несколько рывков и крест лёг плашмя на траву. Панов закопал и прихлопал лопатой ямку.

Теперь надо было доставить крест на кладбище, это по грубой прикидке – с километр расстояния. Примерился поднять на плечо – зря и старался, весу было больше, чем у семидесятирёхлетнего Панова сил. Оставалось тащить волоком. До опушки леса, пока ноги ступали по твёрдой земле, с двумя передышками дотащил благополучно. Дальше надо было петлять меж густо растущими соснами, мох пружинил и оскальзывался под сапогами. От передышки до передышки Иван Михайлович преодолевал расстояния не больше десяти метров.

Пульс в бешеном ритме и с шумом стучал в ушах. Стало страшно, когда удары сердца начали подкатывать к горлу. Они стали неровными, с неритмичными паузами. Такое раза два случалось дома, ещё при жизни жены, Веры Петровны. Она вызывала скорую, и врач, растягивая слова, констатировал: «пароксиальная аритмия».

– Это что за оказия такая? – пытался пошутить Иван Михайлович. Вере Петровне, хотя она и была больше мужа сердечница, такого слова, как пароксизм, не говорил никто.

– Оказия с возможными сюрпризами, – отвечал врач. – Сюрпризы могут быть в виде инфаркта или инсульта.

С тех пор они на двоих с женой стали держать себе сердечные лекарства. Таблетки издесу него сейчас лежали в специальной коробочке в рюкзаке. Пока шёл к дому, толчки под горло усилились. Принял таблетку, накапал в кружку валокордина. Присел на скамейку у кострища. Прислушался к себе – боли в груди не ощущалось, но тяжесть в голове не проходила. Решил прилечь. Подумал: «Худо дело, если «сюрприз» застанет здесь одного. Вертолёт прилетит только послезавтра. И то спасение, что появились у него Лёша и Матушкин. А то бы сгнил до костей и прощай, родина». Вспомнил, как Вера Петровна в последние годы жизни предостерегала его от всяких отлучек из дому в одиночку.

Незаметно для себя задремал. Сколько длился сон, не заметил. Прислушался: голова, вроде, полегчала, шум в ушах исчез. Приложил палец к височной артерии – пульс был ровный, хотя и частил.

Поднявшись и выпив остывшего чая, Иван Михайлович побрёл к кладбищу. Крест лежал, вдавленный в серебристый мох. На прямом пути к кладбищу оказалась непроходимая чащоба из молодого подростка сосен. Её пришлось огигать, и это почти наполовину удлиняло путь. Волочившийся по земле тяжёлый комель соснового бруса прочерчивал во мху глубокую полосу. Полоса, наконец, выпрямилась и потянулась прямым к старому кладбищу.

Чёрный тощий ворон, дежуривший на склонённой над поваленными крестами сосне, издал какой-то странный горловой звук и не решился покинуть свой пост. Панов видел его немигающие глаза.

– Ну, здравствуй, свидетель века, – усмехнулся он и удивился тому, что голос его словно рассыпался в могучих стволах сосен. Ворон вскинул крылья, но не взлетел, а только повторил свой клёкающий звук и звук этот тоже пробежал по стволам сосен. Озноб стиснул спину Панова от шеи до копчика. Ему показалось, что он тонет в каком-то глубоком таинственном мире, чутко реагирующим на каждое его движение.

– Так показывай, хозяин, где крест вкопать, – Иван Михайлович остановился на краю кладбища. При этих словах ворон сорвался с дерева и на раскинутых крыльях на миг завис над старым, совсем истлевшим крестом. Он тут же снова взмыл ввысь и сел на самую высокую вершину остроконечной ели.

«Мир отозвался на вопрошание пришельца» – мысли Панова лились как будто по чьей-то подсказке, в несвойственном обычной речи стиле. Он поднял изо мха вершье креста и последним усилием подтащил его к тому месту, которого почти коснулся крылами ворон. Пока ходил за лопатой, стряхивал с себя мистику и успокаивал напрягшиеся нервы.

Земля на кладбище была мягкая, торфяная. Крест соскользнул в ямку с тихим вздохом и Иван Михайлович повернул его лицевой стороной на восход. Так ли надо было поворачивать, он не знал. Просто знал, что всё земное и неземное во вселенной обращено к солнцу...

Он отдыхал, сидя на скамейке возле кострища. Тело сдавливала томящая усталость. Медленно уходила душевная оторопь от только что пережитого вторжения в таинственный мир равнодушной ко всему истории.

На ночь пожевал вяленой щуки и лег спать. Под утро проснулся от шороха. На прежнем месте, в светлеющем бледно-голубом треугольнике увидел

сову. Хотел спугнуть её движением руки, но рука не шелохнулась. Ясным сознанием Панов понимал, что уже проснулся, понимал, где находится, ощущал дыханием предрассветную прохладу. Но тело не подчинялось ему, левой половины словно не было. Он только мысленно шевелил пальцами, сгибал руку в локте, но рука неподвижно была вытянута вдоль туловища. Попробовал согнуть ноги, правая сгибалась, а левая словно отделилась от тела и плетью лежала на травяной постели.

Испуг сковал всё, что ещё жило в нём. Первое, о чём подумал Панов, – это был жёсткий приказ себе – не терять голову, пока она ещё соображает. Надо прожить ещё день и прилетит вертолёт. Матушкин найдёт его, живого или мёртвого. Если быть худшему, то у него в кармане лежит листок с адресом воинской части сына, записан и домашний адрес. Не дадут люди сгнуть в стенах проклятой комендатуры. И послал же Бог ему этих геологов...

Время потянулось теперь в ином измерении. Стал слушать себя изнутри. Боли в груди не было, значит, насколько он понимал, сердце ещё на службе. Да он по пульсирующим жилам на висках ощущал его сбивчивые ритмы.

Надо о чём-то думать. Только не о конце. Но вспоминался врач, некогда назвавший диагноз: «параксиальная аритмия». Другой врач, приезжавший по вызову к Вере Петровне, в частном

разговоре пояснил, что с этим пороком многие живут и работают годами. Потом всё же купил популярную медицинскую энциклопедию, докопался до истины. Получалось, что действительно возможны два конца: либо инфаркт, либо инсульт. Либо то и другое разом.

Хрен редьки не слаще. Но был и ещё один источник медицинских познаний – народный опыт и молва. Самые радикальные выводы направлялись в сторону прогресса в медицине. Кардиохирургия, кардиостимуляторы, шунтирование... По наблюдениям и выводам Панова, поскольку этот прогресс в последнее время по рыночной колее въехал в коммерцию и операции стоят бешеных денег, он стал доступен лишь избранным. Многие взывают к благотворительной помощи добрых людей и те дают на это деньги. Но Панов ставил эти мольбы о помощи чуть ли не вровень с грехопадением. Десятки и тысячи долларов, которые кто-то тебе способен отвалить без счёта, не наживаются трудом праведным. И не праведен тот, кто берёт сверх меры за твоё спасение. И не праведен будешь ты сам, когда начнёшь возносить слова благодарственной молитвы не к Всевышнему, а к культу золотого тельца. И всё равно, когда ты будешь исцелен, рядом с тобой в палате будет умирать тот, у кого не нашлось денег на операцию. И, может быть, это будет ребенок с ещё неосознаваемой мольбой о

жизни. Панов подумал, что он всю жизнь стыдился бы такого исцеления. Неверующий человек, он считал праведным только то, что достаётся каждому человеку по совести, от родных и от Бога.

Такие размышления успокоили его, отвели испуг. Наверное, эти мысли и были его молитвой.

Ему захотелось всё же подвинуться к дверному проёму. Он поднял голову, сел и, опираясь на правую руку, сделал полуоборот туловища. Теперь, если лечь на правый бок головой к двери, можно дышать свежим воздухом и видеть то, что он и хотел видеть. Последнее, что открывалось ему сейчас, был крест с отблесками зари на чёрных гранях. И пустырь от бывшего посёлка в поблёкшей предосенней зелени.

Жесткие тиски ухватили и сжали сердце. Боль заставила сжаться его самого и навсегда погасила свет в глазах...

Дунайские волны

1.

Выйдя на пенсию, Виктор Прохоров впервые за семь свободных лет выбрался из Москвы на Обь, в свой родной городок Суеж. Собирались ехать вдвоём с женой, но всем и всеми часто управляет случай. Дочь, что живёт в городе Вольске на Волге, неожиданно попросила принять в Москве детей – с мужем купили путёвки на Балатон. Жаль было рушить сложившиеся с зимы планы, но Полина пожалела дочь, да и внука с внучкой приглубить захотелось – отправила Виктора на его родину одного.

В Суеже живёт младший брат Виктора Сергей. У Сергея три сына, племянники, значит. Выросли, отселились из их родового поместья, старшие двое успели ещё от прежних властей получить на работе квартиры, а младшему все вместе поставили собственный дом. Виктор за такую семейную

основательность испытывал к брату особую признательность. Сейчас редко встретишь, чтобы родители с детьми не разлетелись по белу свету. А тут уже и третье поколение по родной земле бегают – у каждого племянника по сыну и дочери, прямо как на заказ. Сам Виктор ни в каких делах в Суеже не обозначился, уехав отсюда ещё по молодости. Но было ему небезразлично, в каком воплощении останется жить на малой родине фамилия Прохоровых.

Сергей с женой Веруней в родительском доме остались вдвоём. В этот приезд Виктор подметил: без детей стало пустовато, вроде древо оголилось. И в доме к старым стенам ничего нового не приросло. Сергей теперь тоже на пенсии. Два года как они с Веруней сбыли со двора корову – окраину города, выходящую на пойму Оби, у местной власти выкупили богатеи из нефтяного города – под застройку коттеджами. Жителям этой окраины Суежа скотину выпасать стало негде. Сразу поубавилось здесь ребятишек, приезжающих на лето из разных мест к бабушкам и дедушкам. Окраина, словно, стала замирать. Со страхом люди поговаривают: не скупили бы и их с потрохами, мол, нынешняя власть, если что, ни от кого не защитит.

Виктору было непривычно слышать такое о власти – он до последнего дня служил на солидной государственной должности, от неё и на пенсии

посытнее брата кормится. Вчера вечером они с Сергеем за приезд прилично выпили. Даже заплакали, уткнувшись друг в дружку лбами, над чем всё ещё звонкая Веруня похохатывала, наливая в рюмки деверю побольше, мужу поменьше. Однако братья пьянели наравне. Виктор в Москве приучился к самоконтролю, Сергей же, по провинциальным обычаям, если выпивал, то без оглядки. Однако старался не дать повода старшему брату подумать о себе плохо, изо всех сил держался «в кильватере» (служил на флоте, любил это словцо).

2.

Наговорившись, заплакавшись, разошлись спать. Гостю постелили в пристроенной в поздние годы, а потому и незнакомой ему комнате. Её Сергей приторочил к южной части дома уже после смерти отца. Просторная получилась комната для пацанов, в ней они и выросли. Из этой комнаты был прорублен и автономный выход во двор. Сергей его прорубил до того, как построили дом для младшего сына. Сноха тогда ходила вторым ребёнком, решил, что молодым удобней будет иметь свою дорогу. В мыслях же делал это ради неприкосновенности собственного быта, оберегая по-стариковски свою «лабораторию жизни» от случайных вторжений, чему и Веруня не противилась...

Проснувшись раньше хозяев, Виктор решил

обследовать этот выход. Дверь была прихвачена на проволочный крючок. Она легко открылась, за порогом лежали широкие крылечные половицы, давно нетоптанные, о чём Виктор догадался по откошавшемуся от досок сухому сурику. В смешении запахов, исходящих от нагретых ранним летним солнцем половиц, всё же побеждал дух сосны. Сладостно вдохнув его и осмотревшись, Виктор ступил босыми ногами на горячие доски, сошёл с крыльца и, подумав о венике, которым надо бы смести мусор, вытер о влажную ещё от росы гусиную травку, прилипшую к ступням суриковую крошку.

Было тихо. Виктор почувствовал неожиданное состояние полёта. Вспомнилось ему, как в детстве прыгал на эту гусиную травку с крыши дома, держа над головой раскрытый зонт. Зонты в пору его детства в Суете были в диковинку. Диковинным образом этот зонт и появился в их доме ещё в войну. Мать рассказывала: когда отец был на фронте, с почты принесли посылку. Внутри был этот зонт с серым раскрывающимся куполом и прорезиненные ботики, которые никто не знал, как носить, потому что они были вельветовые и с пустыми каблуками. Когда кто-то объяснил, что ботики надо одевать поверх туфель, их за ненужностью выбросили. Позднее выяснилось, что эта посылка была от американского «второго фронта», таких щедрот

удостоились и ещё несколько женщин-солдаток на сужеской городской окраине.

Зонт тоже затерялся, но спустя много лет неожиданно сыскался. Напоминая своим куполом парашют, он нестерпимо тянул третьеклассника Витьку и первоклассника Серёжку ввысь. По старшинству приоритет был, конечно, за Витькой. И он однажды полез на крышу дома, подбадриваемый любопытной ватагой соседских сверстников. Лестница дрожала и шаталась, острые рёбра перекладин больно впивались в босые пятки. Когда достиг верхней ступени, стало страшно. Но назад пути не было. Витька с трудом вскарабкался на тесовый край крыши, публика внизу замерла. «Парашютист» даже не успел выпрямиться, как соскользнул с замшелого ската крыши и полетел вниз, воздев к небу правую руку с куполом зонта. Почти в одно мгновение он почувствовал сильный удар ступнями о землю, а носом – о собственные коленки.

Сбежавшаяся к месту Витькиного подвига ребятня загалдела. Все принялись поднимать героя. Перед глазами замелькала синяя Серёжкина рубаха, которую брат снял с себя, чтобы вытереть окровавленный нос «парашютиста...».

3.

«Интересно, где он теперь», – подумал Виктор про зонт и поднял глаза на тот край крыши, с

которого совершал свой исторический прыжок. И с изумлением заметил, что того края собственно теперь и не было. Крыша, оказывается, перестраивалась, замшелые тесины заменены шифером. Посередине ската крыши, поблёскивая остеклением, красовалось слуховое окно. Массивная лестница теперь была приставлена прямо к этому окну. И Виктор вдруг почувствовал, что кроме лестницы сейчас для него ничего вокруг не существовало. Что он ради неё только и приехал сюда из Москвы.

Ему захотелось пробраться на чердак, в то таинство родительского дома, где в детстве всегда можно было совершать открытие за открытием. Чудом могли показаться неизвестно когда брошенные там колесо от прялки, старые сапоги с оскалом деревянных шпилек в отставшей подошве, книга с обтрёпанными углами, продырявленный самовар. Вокруг каждой встречавшейся там (может быть даже не однажды, но каждый раз, как впервое) вещи клубился таинственный мирок старины. К каждой этой вещи, наверное, не раз прикасались руки отца, деда. Но ни у кого из них почему-то не хватало смелости, да и нужды такой не возникало – выбросить что-либо, очистить чердак. Тем он и был дорог. Тем он и манил сейчас приехавшего в родительский дом Виктора.

Но ему надо было хотя бы обуть туфли. Важно было также убедиться, что брат с женой

ещё не проснулись – иначе будут смеяться над его блажью. Блажь не мальчика, а на седьмом десятке пожилого человека. Видите ли, захотелось ему подсесть на машину времени, вернуться в старый мир чудес. Да и вообще, могут подумать чёрт знает что...

Но отступление от затеи было невозможно. Виктор преодолел крыльцо в обратном направлении, на пороге обтёр о щиколотки ног крылечный мусор со ступней. За закрытой дверью, где спали брат со снохой, слышались два неслабых храпа. «Лаборатория жизни», – вспомнил придумку Сергея, и ему стало смешно. Брату уж шёл шестьдесят четвёртый, ему самому – шестьдесят шестой. А порой ещё и бьёт бес в ребро. Подумалось в том же смехотворном духе: «Не чуждо ещё земное, не чуждо! И, слава Богу!»

Туфли на босу ногу одевались трудно. Чуть не упал, когда, согнувшись, всовывал в них свои пятки. Обратный путь во двор преодолел на цыпочках и, спустившись с трёх ступенек крыльца, оказался возле лестницы. Вверх поднимался с азартом, боковым зрением видел, как с его восхождением ширится окружающее пространство утренней благодати. Почувствовался ветерок с соседских огородов, пахнущий картофельной ботвой. Сейчас он откроет створки слухового окна и... здравствуй начало жизни!

4.

Чердак встретил его прохладным полумраком. Пока глаза привыкали к темноте, жил только запахами. Что же это было такое? Вспомнил, когда из темноты прорисовался край холстяного полога. Всмотрелся в тот угол, откуда пахнуло этим волшебным ароматом. Мать когда-то сама ткала холсты из тонких льняных ниток. Из холстяных полотен сшивала замечательный шатёр, надёжное убежище: ночью – от комаров и лишней прохлады, днём – от жары. Под пологом, в простом чердачном алькове, можно было спать с июней по сентябри – смотря какое лето. «Ай да Сергей!» – подумал с благодарностью о братском постоянстве. На прежнем месте оказалась даже постель. Виктор пощупал угол матраса, но привычного хруста соломы не почувствовал, матрас был современный, ватный. А где её взять теперь, солому-то! За окраиной, где раньше начинались поля соседнего колхоза, теперь, поди-ка, всё в строительных опилках. Сноха Веруня вчера рассказывала жуткую историю про соседского телёнка, который увяз в расплывшемся гудроне, и строители паяльной лампой выплавляли из смертельной ловушки копытца этого бедняги.

Освоившись в полумраке, Виктор присел на бревенчатую стяжку крыши. И как будто впервые увидел – с любопытством стал осматривать нехитрую, но прочную конструкцию этой опоры.

Сосновые брёвна из центра чердачного пространства разбежались на все четыре угла, выступая за них ровно на столько, сколько требовалось для напуска крыши над стенами дома. Когда строил себе дачный дом в Москве, то заметил, что городские строители не знают такого искусства. Здесь же бревенчатый паук и прочен, и вечен. Выпущенные за углы сруба концы брёвен несут на себе весь нелёгкий шатёр крыши. К ним подбивается и обшивка карниза.

Глаза побежали в тот угол, где крыша нависала над заплотом у калитки. Там когда-то была дыра. Неизвестно, как она появилась, Виктор, как стал себя помнить, так помнил и эту незашитую часть карниза. Через дыру можно было с чердака спуститься на заплот, с заплота – на землю, и ты свободен от родительского глаза хоть на всю ночь.

Сейчас там встык под углом друг к другу сходились крепкие доски. Значит, Сергеевым ребятам не досталось его былой вольности. Собственно, для них таким потайным лазом могло служить слуховое окно, – подытожил Виктор свою странную заботу о племяшах.

Тот лаз в углу крыши был дорогой в большую жизнь. Существовала дорога в школу, она вела через дверь, крыльцо, калитку, мимо окна, в которое мать, провожая, благословляла их с Серёжкой своей напутственной улыбкой, а, может быть, и молитвой. Была дорога на пристань, где в рабочем посёлке

жила родная племянница отца, Анфиса с мужем Терентием и двумя детьми – Ванькой, Витькиным ровесником, и Лизкой-подлизкой – так Ванька звал сестрёнку, что была на год младше их обоих. Была дорога в магазин, в городскую баню, куда мужики втроём ходили по субботам. Было ещё много дорог, но все они были открытые, явные. Эта, тайная – с чердака на заплот и на улицу – появилась у Витьки – ему исполнилось тогда двенадцать лет – вместе с тягой к подростковым секретам.

5.

Первый секрет был опасным. На пристани Ванька познакомил его с пацаном, у которого вместо имени было прозвище «калган». Калган ходил руки в карманы, залихватски сплёвывал перед собой. Другие ровесники расступались, когда он входил в их круг. Однажды Калган попросил Витьку последить за толстой тёткой, оставившей детскую коляску с ребёнком и хозяйственной сумкой и отошедшей от магазина за угол дома. Там бакенщик Митя продавал стерлядок. Витька должен бы свистнуть, когда женщина пойдёт назад. Свистеть не потребовалось. Калган как-то странно надвинулся на Витьку, сунув ему что-то в карман. Это была пятёрка. Витька, раскрыв ладонь, сильно испугался. Но ещё больше побоялся в этот момент возражать – женщина могла заметить кражу из сумки, и тогда бы

хана была обоим. Витька насильно вернул пятёрку Калгану, и после этого целую неделю не появлялся на пристани.

Калган сам через Ваньку позвал его. Сказал, что есть дело. Витька после ужина поднялся на чердак, где они с братом спали под холстяным пологом, уговорил Серёжку помалкивать, сам через лаз в углу спустился на улицу, и, прижимаясь к заплоту, почти ползком выбрался на непросматриваемую из дома дорожку. До пристани надо было бежать с километр по болотистой низине. Начерпал грязи в ботинки. Решил, что следующий раз надо выбираться из дому пораньше.

Калган сообщил ему, что знакомый конюх из Заготзерно доверил ему гонять лошадей в ночное. Появляться на конюшне надо было перед закатом солнца, когда всех лошадей, работавших весь долгий день на перевозке мешков с зерном и мукой, сдавали на конюшню.

Калган на правах хозяина доверил Витьке сытую серую кобылу, объяснив уступку тем, что на сытой лошадиной спине он по неопытности «не собьёт жопу». Он не сказал, что Серуха боялась каждого куста, и Витька на первом же повороте щучкой спланировал на землю. На удивление кобыла не убежала, а встала как вкопанная, словно прося прощения. Витька сразу проникся уважением к этому живому кораблю, на котором можно было

лихо парить над кустами молодого ивняка.

При возвращении из ночного на рассвете, Витьке нужно было также тайком пробираться на чердак. Мать в это время в хлеву доила корову, отец ещё не вставал. Незамеченные вылазки длились недели две или три. Витька однажды засветился перед отцом, когда тот вышел во двор спозаранку. Он как раз взбирался на заплот и не успел улизнуть от зоркого отцовского взгляда. Разборка состоялась днём. Отцу, конечно, было важно знать, не стоит ли за уловкой сына какое хулиганство, и, узнав о появившейся у пацана жокейской страсти, только посмеялся над ним. Словно гора свалилась с плеч, Витька после этого даже несколько раз брал с собой в ночное младшего Серёжку.

Но однажды, когда меньшей брат задремал в ночном у костра, Калган оттащил Витьку за рукав в темноту и предложил днём пойти с ним к его соседу за голубями. Сразу нарисовал план действий. Они с крыши калгановского сарая переберутся на поветь соседа, где устроена голубятня. Дверца на замок не запирается. Витька должен схватить кофейного турмана, а сам Калган словит чубатую белую голубку. Добычу надо будет дня три подержать где-нибудь подальше от голубятни, а там...у него уже есть покупатель, и они неплохо заработают.

Витька доутрасомневался: дело было рискованное. Он знал: голубятники водятся компаниями, если

слова, то косточки пересчитают – это точно. Драться Витька не умел. Не потому избегал драк, что не было в этом опыта, а просто стеснялся столь позорного и, как правило, публичного действия. Согласиться на воровство его подвигла боязнь потерять вновь обретённого друга.

...Операция у них прошла успешно. С покражей – гордым кофейного цвета турманом в руках Витьки и кокетливой, вертявой голубкой в грязной лапе Калгана – они оказались в тёмной кладовке. Калган против обычного своего поведения чего-то боялся, позднее он признается Витьке, что отец бьёт его смертным боем за каждую провинность. Битьё, как видно, не шло на пользу – Калган с каждой своей выходкой всё больше настораживал Витьку своей безрассудностью. И неизвестно, чем бы закончилась их дружба, не случись того, что случилось в конце того лета, когда для Витьки заканчивался его шестнадцатый год от роду. На пристани, где жила его двоюродная сестра Анфиса, он безрассудно влюбился.

6.

Её звали Юлькой. Она была дочкой того самого бакенщика Мити, что по утрам торговал на пристани стерлядкой. Тогда ловля этой рыбы не считалась запретной, и вообще слова «браконьерство» никто не знал. Митино промышляло было, наверное,

достаточно, чтобы Юлька в свои шестнадцать лет ходила на модных каблучках, казалась совсем взрослой и выделялась среди девчоночьей компании немыслимыми сарафанами и ярким позолоченным пауком в рыжеватых волнах волос. Она была высока, стройна, и при первой встрече насмешливо, как Витька оценил, смерила его с головы до ног. Витьку это как-то странно пронзило. Он никогда не думал о своей внешности, но тут вдруг ему в самую глубь мозгов проникла предательская догадка, что он не дотягивал до неё ростом, а смелости в нём было вообще кот наплакал. Он буквально заболел этим ощущением.

По субботам на площадке у крутого берега Оби собиралась молодёжь. Но Витька на пристани был чужим. Вначале он попытался Калгана отлучить от конюшни, чтобы дать пристанским ровесникам понять, с кем имеют дело. И когда это не получилось, прилип к Лизке. Ваньку он считал тюфяком, недоростком, хотя он был всего на год младше сестры. С чердака он также исчезал после ужина и появлялся в доме двоюродной сестры Анфисы. Ванька с Лизкой были тому даже рады. Лизка открывала патефон и шуршала пластинками, глазами спрашивая, какую из высокой стопки выбрать первой.

– Ага? – говорила она, и Витька догадывался, почему Лизку звали подлизкой, она этим

односложным обращением уже давала понять, что не отлипнет, пока не добьётся ответа.

– Ага, – беззвучно соглашается Витька. – И Лизка кладёт на диск патефона его любимую – «Дунайские волны». Вальс исполнялся военным ансамблем. Солист высоким голосом давал запомнившийся с первого раза запев:

Видел, друзья, я Дунай голубой,
Занесён был туда я солдатской судьбой.

Голосу мерными переборами вторят баяны. И громким вихрем вступает мощный хор:

Девушки нежно смотрели им вслед,
Шли они дальше дорогой побед.
И отраженьем дунайской волны
Были глаза полны.

Витька уже знал, что будет дальше. Они втроём – с Ванькой и Лизкой – пойдут на тот берег, где по субботам собиралась и танцевала молодёжь. Лизка была почти ровесницей Витьки, ей шёл шестнадцатый, но это была рослая, подвижная девчонка. В той ситуации, которая сейчас владела всем Витькиным существом, она казалась ему взрослее, а, главное, нужнее Ваньки. Он уже успел заметить, что в сарафанной компании, где Витька однажды увидел Юльку, его шустрая родственница вполне сходит за ровню всем пристанским девчонкам.

В тот год Витька окончил девятый класс. Ему весной покупали новые туфли. Это было весной,

когда он ещё и подумать не мог, что надо было купить не чёрные, на которых будет видна каждая пылинка с торфяной дороги от его дома на пристань, а какие-нибудь серые или коричневые. Тогда ему не пришлось бы носить с собой намоченную тряпку, которую теперь прятал под пряслон у первого дома в пристанском посёлке. И, знай он раньше о существовании этой Юльки, туфли можно было подобрать на более высоком каблуке.

Хотя они и не умел танцевать, а только смотрел, как танцуют другие, всё равно одной субботы с этими танцами ему стало не хватать. Ночное с копытным топотом и конским ржанием перестало быть для него тем пряником, ради которого он на целые ночи тайком убегал со своего чердака, рискуя быть разоблачённым, а, следовательно, и запертым на лето в душной избе. Ему хотелось побольше таких суббот. О том, почему танцы бывали исключительно по субботам, он не сразу узнал. Оказалось, что только в конце недели приезжал домой к родителям хромой баянист Саша Токарев. Он жил в доме на самом берегу. По воскресеньям отец увозил его на «москвиче» в Суеж, где он жил до субботы у сестры и вёл в педучилище уроки музыки. Самостоятельно Саша передвигался с тростью, было видно, что это достаётся ему нелегко. Баян ему на вечеринку выносил кто-нибудь из ребят или девчонки.

Из дома также приносили стул, застилаемый попонкой от стёганого одеяла. Саша играл в основном вальсы и танго. Танцевали задумчиво и плавно. Витька страдал, когда видел Юльку с вихлястым парнем, постарше его возрастом и, как ему казалось, всегда немного навеселе. Он узнал, что парень этот работает на буксирном катере, обслуживающем суда на сужском рейде. Для Юльки он мало подходил, но так считал Витька. Он боролся с собой, изо всех сил стараясь не казаться жалким, когда насмешливые Юлькины глаза стреляли в него из-за вихляющегося плеча её партнёра.

Вечера стояли тёплые, от реки веяло запахом мокрой сосновой коры. Издалека доносились басовитые гудки пароходов. Случались такие редкие картины, когда публика замирала – мимо проплывал какой-нибудь белый двухпалубный пассажирский пароход. Хлопали по воде плицы. Капитан посылал берегу приветственный гудок и народ отвечал звонким ликованием. В окнах посёлка загорались огни. С замиранием сердца Витька ждал той тревожной минуты, когда будет объявлен прощальный вальс. Обжигающим для него моментом было кучкование звонкой девчоночьей стаи, которая вдруг мгновенно разлеталась, не доставаясь никому из вечно лапающих всё живое взрослых парней.

В одну из таких минут, прощаясь, Лизка шепнула Витьке загадочно:

– А ты кое-кем замечен. Выше нос, Ромео!

Витьке не требовалось ничего объяснять, он вспомнил удивлённый, как ему показалось, взгляд Юльки из-за плеча её партнёра, и весь сжался. Лизка теперь была для него самым главным существом на свете. Он решил: будет ждать.

– Давай я научу тебя танцевать, – однажды сказала Лизка.

Откуда, из какого опыта исходило это её бесподобное попадание в самую суть Витькиных желаний?! Танцы и только танцы могли быть спасительным средством для пылкого стеснительного Ромео! Но как всё дальнейшее будет связываться в заветный узел, он этого не знал.

7.

Внизу стукнула дверь, послышалось какое-то движение. Надо было обозначиться, и Виктор по-мальчишески присвистнул. В ответ раздался такой же свист – это Сергей принял условный сигнал, не забытый с детства.

Братья постояли в огородчике, помахали руками, попотягивались, изображая физзарядку, и пошли умываться. Веруня на завтрак предложила опохмелиться. Сергей вопросительно глянул на брата, выражая готовность поддержать предложение жены,

но Виктор решительно замотал головой, объяснив свой принцип – никогда не «причащаться» утром. Хозяева согласились, Веруня, правда, многозначительно хохотнула в сторону мужа.

Позавтракав, засобирались на родительские могилки. Посещением кладбища Виктор остался доволен. Матери не было уж лет двадцать, около этого минуло и после смерти отца, так что боль утраты давно истаяла, и, как Виктор нечаянно заметил, прислушиваясь к себе, никаким ребром сейчас не упёрлась в сердце. Не зря говорят, что время лечит. Важно было, что он увидел ухоженность могил, бережное отношение к памяти. В этом смысле Сергей с Веруней не обманули его ожидания, молодцы.

На вечер намечался большой семейный съезд в родительском доме. И в назначенный час разом к калитке подкатили три легковушки, из них высыпала белоголовая, как на подбор, ребятня. Мальчишки сразу перемешались, запрыгали по брёвнам у калитки. Трое девчонок стеснительно прижимались к матерям, с любопытством поглядывая на незнакомого деда из Москвы. Сергеевых ребят Виктор узнавал, снохи, как и ребятня, у него в глазах перепутались, но пока они переносили в дом привезенные к застолью закуски, Виктор всех запоминающе обсмотрел, малых ребятшек обласкал, одарил гостинцами. К моменту семейного

торжества установился тот лад, когда каждый чувствует себя своим в компании. Снохи были с ним на «вы», племянники доверчиво и сразу приняли традиционно-родственную форму общения – на «ты». Виктор так и хотел, и, к его радости, это получилось запросто.

Первый тост Сергей провозгласил за гостя. При этом не забыл упомянуть отсутствующую Матвеевну – жену Виктора, мол, вместе приехать было бы лучше. Веруня сосчитала годы, как не виделись со свояченицей, их уж набиралось больше семи.

– Так и погрём, не свидевшись.

– Ну что ты, мама! – отозвался старший племянник, предлагая выпить стоя «и за дядю Витю, и за тётю Полю, и за сестрёнку Олю», единственную дочь московских Прохоровых.

Очень ладно получилось с первым тостом. Выпили. За столом стало как будто просторней. Сергей налил по второй и гость, перехватив тост, предложил выпить, не чокаясь, за родителей.

– Вот, они, с нами, – Сергей повёл поднятой рюмкой в сторону рамок на стене с фотографиями. – Сейчас порадовались бы.

Снова все встали, стол закачался, и хозяйка всплеснула руками, когда зазвенели высокие фужеры с ягодным морсом. Сергей налил по третьей. Виктор мысленно укорил брата за быстрый темп, стеснительно обвёл взглядом племянников.

Они, как ни в чём не бывало, перекидывались шутками друг с другом и с жёнами. Выходило, что его укор был бы неуместен среди этого семейного лада. И он стал думать, что же сказать сейчас в знаменательном для него застолье. И заметил, что брат в самый раз подготовил момент, когда должен слово сказать именно он.

Комок подкатил к горлу. Под сердцем торкнулась томящая грусть от сравнения всего, что он видел и воспринимал сейчас, со своим московским житьём. В Москве он считает, что его брат проживает в провинции, в сибирской глуши. А оказывается, это он оторван от первородных прелестей жизни. В чём она, его прелесть? Разве в столичном, чопорно оформленном одиночестве? Вот и боль по умершим родителям, которую он не пробудил в себе даже посещением их могил, давно истаяла. И радость отощания новизны, какую он испытывал в первые годы жизни в столице, давно забылась. Продвижение по службе, регалии и награды, какие ему и не снились бы в родном Суеже, а там приливали почти сами собой, стали привычными. Окончив экономический факультет в Новосибирске и будучи в свои тридцать лет переведённым в Москву, в правительственное учреждение, он ушёл на пенсию с орденами и почётными званиями. Имеет хорошую квартиру на Фрунзенской набережной. Воспитал с Матвеевной дочь, которая вышла замуж за офицера

и, прокочевав по гарнизонам четверть века, осела с двумя его внуками в волжском городке Вольске, где он и побывал-то всего пару раз, не познав душевной близости ни с зятем, теперь уже отставным полковником, ни с внуками. Вот прелесть-то!

В эту минуту ему захотелось выразить нахлынувшие чувства в своём тосте. Подумал: хорошо им всем вместе! Так пусть же знают об этом и ценят то, что имеют. И не соблазняются романтикой дальних краёв.

Он так и сказал. Воспел любовь к малой родине. И это была его правда, идущая от сердца.

Стало весело. Дети, было притихшие кто на кровати, кто по лавкам у печи, кто прямо на порожке избы, тоже зашебутились, запрыгали. Сергей, помолчав немного, запел свою морскую:

На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной,
Когда усталая подлодка
Из глубины идёт домой.

Допеть до конца ему не дали. В семье он один был «моряком», и для одного в таком широком застолье и в совсем неморском сибирском городке сугубо индивидуальной песни показалось многовато. Это не какая-нибудь про одинокую рябину, которую знают и подпевают даже дети. Словом, отцовскую песню про подлодку младшее поколение Прохоровых смяло. У каждого из сыновей

нашлась бы своя армейско-профессиональная. Старший, Алексей, служил танкистом. Средний Максим был пограничником, имеет медаль за «боевую точку». Младший, Виталий, связист, отстоявший два года на точке выведения на орбиту космических кораблей недалеко от Байконура.

Сергей считал за личное достоинство, что все его «мужики» прошли через армию, не «расопливелись» перед дедовщиной и прочим армейским лихом. Алексею пришлось с перерывом на службу обучаться в автодорожном техникуме. Окончил, работает механиком на станции автосервиса. Максим воспользовался возможностью получить диплом в открывшемся в Суэже филиале педагогического университета, но работать в школу его не потянуло, устроился в райотдел милиции инспектором по работе с детьми и подростками, теперь уже капитан. Младший, Виталий, в смысле профессии оказался самым проблемным. Поступил на агрономический факультет в местный филиал аграрного университета. К моменту окончания все колхозы в районе были распущены. На каждую деревню нашлось по одному-два оборотистых хозяина из числа председателей и специалистов, они и прибрали всё, что оставалось от полеводства и животноводства, к своим рукам, а идти к частникам в услужение Сергей сыну не

посоветовал. Сказал: «Прохоровы никогда не были плохими работниками, но крепостными тем более не будут никогда». Виталий стал на автосервисе ответственным за моечный комплекс. Зарабатывает неплохо, а какие в душе засели недовольства, не любит никому рассказывать. Виктор всё же взял это на заметку, решил в удобный момент поговорить с младшим племянником...

Перед разездом произошёл маленький инцидент. Сергей запретил сыновьям садиться за руль: выпили всё же изрядно. Упрямей всех оказался Максим, видно, уже познал вольность, нося милицейские погоны. Сергей даже прикрикнул, добавив, что ему не за него, а за «меньших боязно». Заминка была недолгой, все толпой пошли на городской автобус, обещая за машинами явиться поутру, тем более что на завтра был выходной день – суббота.

– Вот так-то, удовлетворённо потёр руки отец семейства.

8.

В безлюдный дворик, поросший гусиной травкой, вползала душная июльская ночь. Виктор вслух посетовал, что жара в Сибири бывает специфическая, она не спадает, не даёт отдыха и под вечер.

– А у нас есть средство, – хитро подмигнул брат,

и сразу же нырнул в погреб под поветью. Оттуда на Виктора пахнуло холодом и таким родным с детства запахом прели. Вылезал брат с запотевшей, тёмной на просвет бутылью. – Ты, поди-ка, забыл, что есть такая посуда – четверть? И какая у нас Веруня мастерица делать домашнее пиво. О! По старому рецепту, ещё от матери опыт переняла. Я ребятам на стол наказал не подавать, с водкой было бы тяжеловато. А мы сейчас побалуемся.

Прижимая к груди потную четверть, брат ещё стоял на коленках у темнеющего провала погребной горловины. Виктор заторопился на помощь, принял у него леденящую руки бутыль.

Через открытое во двор окно было слышно, как Веруня позвякивает посудой. Сергей, позвал жену, попросил подать кружки. Раскрасневшая Веруня выглянула из окна, привычно хохотнула, снова скрылась, и уже с кружками появилась на крыльце.

Виктор не в первый раз подметил, как ладно сложена эта пара, ни окрика друг на дружку, ни ворчания, хотя уже и состарились вместе, и нет, вроде бы, нужды излишне тратиться на церемонии.

Он был студентом, приехал на пятом курсе к родителям на каникулы, когда у них в доме появилась бойкая, круглолицая певунья – Сергей, смеясь, объяснил, что в охапке принёс её с соседней улицы. Мать с отцом отвечали на это согласными

улыбками. Веруня любила украинские песни и, когда случалось семейное застолье, хорошо пела. Виктору с первого взгляда на эту всеобщую идиллию стало ясно, что место его в родительском доме навсегда занято и возврата сюда для него не существует. А младший брат так наладил свою «лабораторию жизни», что один за другим появились трое пацанов. После второго молодые хотели девочку, но родился и третий, Виталька. Виктор тогда уже жил в Москве.

Пиво пить сели под поветью. Стулья вынесли из избы. Стол стоял наготове, Сергей поёрзал им по дощатому настилу, выбирая место поровнее. Пенистый, пахнущий сладким солодом напиток, шипел и переливался через края кружек. Веруня вынесла в тарелках селёдку, хлеб. Метнулась в огород, и на столе добавилась горстка зелёного лука. Сама ушла домывать посуду.

Открывался простор для спокойного братского разговора. Начали с того, что вспомнили Анфису, двоюродную сестру. Виктор не видел её почти с той поры, как в детстве бывал у неё в доме в пристанском посёлке. Из писем он знал, как умер её муж Терентий. Ванька окончил речное училище и до пенсии плывал капитаном речного сухогруза в верховьях Иртыша, живет в Павлодаре, туда и мать забрал, когда ей уж немоготу стало жить одной.

– Анфиса два года назад померла, я тебе об этом писал. Лиза живёт в Калуге, возьмёшь адрес,

может, свидитесь. Один раз только приезжала... Лизка-подлизка. А теперь уж тоже в годах, на пенсии. Попробуй теперь друг к дружке съездить – билета не докупишься. На разлуку поезда быстро нас развозют, а на съезд... Государство, едрёна мать, о нас позаботилось, чтоб поодиночке помирали. Цивилизация! Раньше не было этой цивилизации, так хоть не разъезжались друг от друга далеко. Запряг лошадёнку, и в соседнюю деревню хоть в гости, хоть на тризну. К куму, к свату, к брату. Знаешь, я даже если из своей жизни что завидное вспоминаю, то все завидки тянутся к прошлому.

– Ну, это ты брось! Что, так и живёшь с повёрнутой назад головой? – Виктор рассмеялся. – Дети у тебя современные, ни смекалкой, ни судьбой, как я погляжу, не обиженные.

Сергей ответил не сразу. Отпил пива, кивнул на кружку брата, чтоб приобщался, пока пиво холодное. Продолжал сипло, как будто сразу горлом захолодел от трёх глотков погребного напитка:

– Ты за столом хорошо сказал про мою семью. Но одна радость, что мы вместе. А что тебе известно про наш город? Ведь вымирает городишко. И вокруг деревень уж не остаётся, чтоб оттуда, как было раньше, почерпнуть людишек. Десять лет назад в Суеже открыли филиалы двух университетов – педагогического и сельскохозяйственного. Тоже выдаём за цивилизацию. А по правде говоря, это две

черпалки. Вычерпывают наших детей-последышей и туда, туда их – вон из родных мест. Здесь-то в деревнях уж скоро школы все позакрывают, педагоги не нужны. Колхозов не стало, от государства спроса на учителей и агрономов не поступает. Хочешь сам для себя учиться – плати денежку. Вот сыновья ещё успели за государственный счёт получить дипломы. А кому их ныне покажешь. Виталькин диплом агронома – где он может сгодиться? Снохи с дипломами, Алёнка, Алёшкина жена, в педагогическом филиале преподаёт, у Максима Варвара учит детей в начальной школе. Выходит, хуже всех самому молодому – Витальке. И жена у него педагог с высшим образованием смогла устроиться только библиотекарем. Молодым хуже, чем старым, а ты говоришь, что на государство или на судьбу не за что обижаться? Должно быть наоборот, если полагаться на цивилизацию да на цивилизованное будущее. А получается поперёк логики.

Виктору стало неловко: он был пуст для ответа на монолог брата. Ещё недавно он, ответственный работник Министерства экономики в Москве, был убеждён, что массовое банкротство предприятий в такой провинции, как его родной Суеж – это как перетряхивание старой рухляди. Её надо было перетрясти, выбрать самое нужное и жизнеспособное и благословить на новую жизнь в

рыночных условиях. Так трактовали современные инструкции, этого требовали правительство и президент страны. Департамент, который он возглавлял, контролировал этот процесс, писал отчёты наверх, вплоть до самого президента. И получал за это премии, награды.

Теперь рассказ брата открывал вид на его работу с изнанки. Да ему и самому было что вспомнить: сладкие глазированные пряники в магазинах города были свои, их выпекала на пищекомбинате бригада женщин, среди которых работала и его мать, оттуда она уходила с почестями на заслуженный отдых. Пищекомбинат выпекал удивительные коржики, сайки для школьных буфетов, торты. Промкомбинат шил тёплую робу для животноводов и лесорубов. И всё пригодились. В городе работал мясокомбинат, сuezцы могли покупать колбасы местного производства, Виктор даже помнил запах той «краковской» в натуральной оболочке, какого сейчас не унюхаешь в продукции самых хвалёных столичных комбинатов, освоивших прогресс с манипуляцией искусственными наполнителями.

Но дело не в прогрессе или регрессе. На этих производствах работали сотни, тысячи людей, они готовили для себя кадры, обучали молодёжь, развивалась социальная инфраструктура городов и сёл. Народ жил, размножался. Их отец, прошедший войну, всю жизнь проработал на кирпичном заводе.

Суэжский кирпич был знаменит на всё Приобье, здесь вокруг залегают пласты замечательных глин. В летние месяцы, когда шла массовая формовка изделий, завод давал заработки сотням сезонных работников, включая учащихся старших классов. Там, в глине, рядом с отцом, закалялись и Серёжка с Витькой.

– И что, завод-то сейчас работает? – угрюмо спросил он брата.

– Где там работает! Его выкупили областные олигархи. Побаловались года два, обанкротили, затем что можно было разобрать – для себя же разобрали, для своих дачных коттеджей. Остальное разломали. Сейчас кирпич возят аж из Белоруссии. – Помолчав немного, Сергей опять ударил в самую точку:

– А ведь на кирпичном производстве тоже работало сотни три специалистов и рабочих, которых выбросили на улицу. Кто за эту разруху ответит, скажи, брат? Вот жил городишко, каких сотни, тысячи по России, работали в нём люди, копошились. Так и жили бы. Нет, цивилизация, глобализация! Страна скукоживается, оголяет землю. Кому она достанется через сто-двести лет, да каких сто, через двадцать-тридцать лет. Ты как хочешь думай, а я вернул бы вместо этой глобализации железный занавес. Нашего русского мужика в консервную банку запаяй, в бетонную коробку, дай только немного

воздуха и молоток с наковальней, он тебе ракету изобретёт, скуёт и вылетит на ней, и ручкой помахает всяким там сраным Давосам и прихлебателям мировой цивилизации. Ты пей, пей. Это я тебе зубы заговариваю. Язык без костей. Потрепнешься вот так и, смотришь, полегчало...

Домашнее пиво тяжелило мозги. Спать Виктор попросился на чердак, под полог. Сергей проводил его до лестницы и пошутил:

– Прыгать тебе с крыши не впервой.

Виктор весело оглянулся на брата с последней ступеньки лестницы и нырнул в темный квадрат слухового окна.

9.

Чердак снова дыхнул на него родными запахами детства. Свет от угасающей вечерней зари каким-то чудом просачивался сюда под крышу, и Виктор без труда разобрал постель, по-боксёрски ткнул пару раз кулаком в углы подушки и лёг, прислушиваясь к тишине. Комариного зуда не было слышно ни под пологом, ни за его пределами. Постукивало в висках, но голова была свежа и легка, опьянение быстро покидало ещё не по возрасту крепкое тело Виктора.

Захотелось закурить, но Виктор прогнал мысль о табаке – тогда бы он спугнул летучую прелесть таинственных запахов детства. Он закрыл глаза. И

в тот же момент несуществующий ныне потайной выход на волю потянул его, словно в воронку, в далёкое прошлое. Из того угла, где незримо угадывался бывший лаз, даже пахнуло запахом близкой берёзовой рощи и болотной травы, среди которой струилась узкая торфяная дорожка на пристань.

Память высветила много раз виденную картину: две-три девчонки выносят из калитки перламутровый баян с кожаными, подбитыми мягким красным бархатом, ремнями. Следом появляется Саша Токарев. Под его натренированным торсом вихляют из стороны в сторону колени искорёженных параличом ног, которые Саша переставляет, опираясь на массивную трость. Лицо у маэстро всегда улыбающееся, и его появление собравшаяся на танцы молодёжь всегда встречает шумным оживлением.

Танцы обязательно начинаются с вальса. Виктор к тому моменту уже успел со скоростью молнии окинуть взглядом закружившееся сарафанное облачко и увидеть в нём то, без чего его присутствие на этих субботних балах не имело бы никакого смысла. Но однажды он окончательно поймёт, как права его смышленная родственница Лизка: нет смысла и в том, что он целый вечер зыркает на всех глазами, а жизнь проходит мимо.

Лизка при этом всё настойчивее предлагала

свои уроки танцев, но ему казалось, что легче провалиться сквозь землю, чем под колючими взглядами Юльки неуклюже топтаться на кругу. Лизка предложила курсы в домашних условиях. Топтание шло под патефонные «Дунайские волны» и под издевательские ванькины насмешки.

К следующей субботе родственница поставила жесткий ультиматум Виктору: он обязательно должен пригласить Юльку на танец.

– Не будь телёнком, – сказала она, смеясь. – Яблочко уже давно созрело. – Витька от этих слов покраснел от пяток до ушей, ему стало стыдно от того, что его двоюродная племянница уже даёт ему такие уроки.

Виктор пошарил под подушкой, вытащил пачку сигарет. Большой тяги к курению у него не было, но хотелось как-то сузить тему воспоминаний. Вынырнув из под полога, сел на ребристую стяжку стропил...

...Это была пора его первой юношеской любви. Она нелепо и странно тогда оборвалась, а сейчас почему-то магически влекла и влекла к себе. Память обрывочно оживляла моменты того безумного состояния, когда он почти в бреду переживал своё мучительное, робкое чувство.

Субботы, к которой он был приговорён Лизкой, он ждал с трепетом и страхом. В какие-то минуты ему казалось, что он способен легко и даже цинично

кинуться в воображаемый огонь. Небрежность и хладнокровие при знакомствах с девицами ему по прочитанным книгам представлялись непременно условием успеха. В таком мнении он затвердел после общения с проживающим на их улице отставным офицером Фёдором. Отставник был лет на десять старше Витьки. Их знакомство началось через одноклассника Игорька Туманова, однажды оказавшегося с Фёдором на экскурсии в областном музее изобразительных искусств. Игорёк «подсел» на завлекательные суждения весёлого экскурсанта о женских портретах. Туманов пару раз отреагировал на его остроумные реплики, и все их дальнейшее путешествие по залам оказалось совместным. Они одновременно и вышли из музея. И к обоюдному удовлетворению выяснилось, что и ехать Фёдору надо в Суеж, да ещё и в одном автобусе. Парень по старшинству окружил школьника вниманием, всю дорогу рассказывал о службе в горячих точках, закончившейся контузией от взрыва снаряда и белым билетом. Сам он был родом с Волги, в Суеж направлялся к тётке, имея дальние планы на трудоустройство. И надо же было такому случиться, что тётка жила с Игорем и Витькой по соседству.

К удовольствию взрослеющих парней, Федор оказался большим знатоком женских слабостей. Все истории, которые могли бы составить энциклопедию любовных походов человечества, если бы

такая была, непременно случались с ним. И он из любых ситуаций выходил рыцарем-победителем. За рассказами «ветерана любви» одноклассники нередко проводили нескучные вечера.

Слушая, Витька тайком примерял к удачам Фёдора и себя. Минутами ему казалось, что он легко, с налёту завоюет расположение любой красавицы. Перво-наперво он бесстрашно подойдёт к Юльке и пригласит её на вальс. А потом будут шёпот и поцелуи в полном уединении. Правда, он ещё не знал, как надо целоваться, видел это только в кино. А по наущению Федора, требовалось только не робеть и не выставлять напоказ сильное желание: «оно само изнутри способ подскажет». По этим «подсказкам» Юлька хоть и представлялась ему цветком с колючками, но бутон должен раскрыться от умелого прикосновения. А как же тот неуклюжий парень, с которым она иногда танцует? По всему было видно, он уже испытал остроту юлькиных колючек, иначе она с прощального вальса не убежала бы одна в темноту ночи. Стук её каблучков не выветривался из слуха Виктора от субботы до субботы.

10.

Вечер начинался как обычно. Трое девчонок выводили хромого маэстро из калитки, помогали ему устроить на коленях большой перламутровый баян. Молодёжь уже была в полном сборе. Витька вдоволь

назыркался по головам кучкующихся на площадке девчонок и, наконец увидел её. Как назло, Лизка где-то задерживалась. Её сейчас очень не хватало. Всё рыцарство Виктора куда-то улетучилось, и без Лизки не на кого и не на что было опереться. Спасительной показалась одна догадка. Он подошёл вплотную к Саше Токареву и, пока тот привычно готовился взять первый аккорд, спросил его:

– А знаешь Дунайские волны?

– Сколько угодно, – весело ответил баянист.

Ритмичные вздохи басов ещё только примерялись к мелодичным струям запева, когда Виктор с рыцарским поклоном предстал перед нескрываемо удивлённой Юлькой. Она неуверенно положила левую руку на плечо Виктора, и ему от этого сразу стало покойно и радостно. Виктор повёл девушку, чувствуя её гибкую талию и, когда в быстром темпе зазвучал припев вальса, она легко сменила шаги на кружение. Один оборот, другой. Виктор поймал Юлькин взгляд, он все ещё был удивлённым, в зеленоватых глазах девушки блестело отражение свинцовой речной глади.

А баян словно выговаривал знакомые слова вальса. Густые басы чётко рассекали напевный мотив. Саша академически выдал все пять частей вальса и вернулся к особо любимому Виктором запеву. Здесь можно было не кружиться, а только переступать, раскачиваясь в такт музыки. Юлька полностью была

в его власти и позволила Виктору прижать себя, что получилось естественно и желанно.

– А почему ты раньше не танцевал, – спросила Юлька, и глаза её снова сверкнули колючими смешинками.

– Я ждал этого вальса, – отшутился Виктор.

– Долго ждал.

– А его долго не было.

Они смеялись. Юлька сама переводила мерный шаг в кружение, сама останавливалась, переходя на удобный для разговора шаговый ритм.

– Я смотрю, кто это тут новенький на кругу?
– Прозвучали сбоку слова появившейся Лизки. Она воткнула в золотистые вихры Юльки пахучую веточку жасмина, в этот момент баянист вывел последний дрожащий аккорд, и наступила тишина.

Появление родственницы было кстати, она подхватила Виктора с Юлькой под руки и повела с круга. Темой для важного разговора у неё могло быть что угодно, молчать она не умела. Пока пробирались к краю площадки, Лизка рассказывала, как вырывалась от родителей с покоса:

– Им ведь безразлично, что нынче суббота. А вот Ваньку захомутали до ночи.

Пока Лизка тараторила о своём, Витька успел постыдиться за сегодняшнее аналогичное бегство из леса, где он на младшего Серёжку и на отца оставил несмётанные три копны сена. У него, видите ли,

нужда. Очертя голову надо было бежать пешком, не дожидаясь, пока отец завершит стог и запряжёт лошадь. Это лето получалось у Витьки каким-то «виноватым», отшельническим. Он чувствовал натяжку отношений с отцом, старался не попадаться никому из домашних на глаза, пробираясь поздно ночью через лаз в свою летнюю спальню. Он обманывал и себя ожиданием какого-то счастливого перелома. Возможно, таким переломом и мог стать его сегодняшний первый выход на круг. С Юлькой! С девушкой его горячей, неотвратной мечты. С этого момента оставалась позади глубокая пропасть Витькиных прежних страданий. Он неожиданно для себя почувствовал обретение чего-то огромного, многообещающего.

После прощального вальса Юлька впервые не побежала одна в темноту ночи, кто-то чуткий и ревнивый не услышал торопливого стука её каблучков. Но этот «кто-то» обязательно был, в чём Виктор был уверен. Высокий сутуловатый парень, от которого Юлька, возможно, и убегала одна в темноту, должен был стать преградой на пути Витькиных мечтаний. Но это произойдёт в самом конце того счастливого лета.

11.

Утром, Виктор не мог чётко разделить вчерашние воспоминания на явь и сон. Сквозь

пелену открывшихся в памяти событий проступало смутное ощущение стыда за неуместные в стариковском возрасте «грёзы любви». Наверное, так бывает, что душа, окунаясь в ауру детства и юности, ищет и прежней, сладостной тревоги.

К встречам на танцах Витька переменял отношение после того, как Юлька однажды предложила ему покататься на отцовской лодке. Она говорила, что часто плавает с отцом на рыбалку. Девушка ловко управлялась с тяжёлым двухвёсельным баркасом. Нацелив нос лодки на какую-нибудь точку противоположного берега, причаливала именно туда. Она давала Витьке погрести, но, как он ни старался, ровного хода у него не получалось.

Однажды он нашёл, что это даже лучше. Снесённая сильным течением, лодка причалила к берегу в безлюдном месте, где за неширокой песчаной косой вдоль берега тянулись заросли спелой ежевики. Они вытащили баркас носом на песок и удалились под зыбучие тени ивняка. Юлька иногда напряжённо замолкала, а Витька обмирал от робости, как назло вспоминая наущения Фёдора о том, как надо рыцарствовать в подобных ситуациях.

В какой-то момент Юлька вынырнула из-под колючих веток ежевики, и их лица оказались рядом. Витька обхватил обеими руками её плечи. Скользя губами по холодной щеке, стал искать её

губы, но натыкался носом то на её нос, то на лоб, то на уши. Юлька вертела головой, пока не вырвалась из его объятий. Он оторопел, готовый принять поток обид и упрёков. Но Юлька смеялась ему в лицо. О, лучше бы она дала ему пощёчину!

Обратно они вели лодку вдоль берега по песчаной отмели. Тащили её за горячую цепь, и Юлька не реагировала, когда его ладонь соскальзывала и накрывала её руку. Когда они забредали на глубину, Юлька высоко поднимала зонтик бумажного сарафана и Витьке было видно, как по её загорелым ногам скатываются серебристые струйки воды.

Возвращаясь, она обычно сама садилась на вёсла. И в этот раз было так же. Витька с кормы любовался ею, завидуя ветру, треплющему разметанные по плечам рыжие волосы, веслам, почти касающимся её колен, теням, прячущимся под запахнутыми внахлёстку полами сарафана.

Встречно на них набегал небольшой буксирный катерок. Юлька умело направила нос баркаса против течения, готовясь пропустить приближающееся суденышко. Витька заметил, как она отворачивала лицо от этого речного шкраба, разваливающего на две стороны высокую волну. Но катерок нагло надвигался на лодку. Витьке всё стало понятно, когда с мостика от рулевой рубки в рупор кто-то прокричал приветствие, назвав дочку бакенщика по имени. Он узнал того сутулого парня. Юлька в ответ

погрозила ему кулаком, и умело поставила баркас носом к набегающей волне.

Витька в те дни не жил, а счастливо плавился в своих чувствах. Перед каждым речным уединением он давал себе клятву вдоволь нацеловаться с любимой девушкой, но, когда наступал тот самый подходящий момент, руки и ноги немели от робости. Юлька, словно читая его мысли, вся настораживалась, переводила разговоры на шуточный тон. Рыцарские намерения Витька откладывал на очередной субботний вечер. Оказываясь в темноте перед калиткой своего дома, Юлька казалась доступней, но ничего, что сулил многоопытный Фёдор, на помощь юному кавалеру само собой не приходило.

12.

Из внешнего мира в редящую темноту чердака начинали залетать звуки оживающего города. Раздался голос всех голосов – басистый гудок большого парохода. «И что за чудо вложено в этот звук, – подумалось Виктору. – Не звук, а целая радуга звуков. В Москве такого уж не услышишь. Там речные суда издают дрожащие мембранные стоны, и не всегда поймёшь, где сигналы с реки, где с железной дороги».

Мысли пошли гулять, как ветер по верхушкам деревьев. Пришёл вдруг на ум странный вопрос:

что в том сумбурном отроческом возрасте тянуло их со школьным другом к взрослому, но по поступкам и образу жизни такому же наивному человеку – Фёдору? Кстати, где сейчас он, жив ли? – надо спросить у Сергея. Почему-то Виктор уж и не представлял его в живых. А всё же хотелось понять – что? Все теории уводят этот вопрос к Фрейдю. Может, иного ответа на него и нет. Но согласиться с теорией – это гораздо проще, чем взять хотя бы элементарный кусочек себя самого в том возрасте и увидеть на просвет каждую чёрточку по отдельности.

«Какая чепуха!» – остужал блудливые мысли шестидесятилетний старик Виктор Прохоров. А тот подросток, что звался Витькой Прохоровым, настырно твердил из глубины души: «что?»

Они втроём – Игорь, Витька и Фёдор – иногда допоздна сидели в беседке на огороде Фёдоровой тётки. Фёдор при этом бдительно прислушивался и приглядывался к малейшим шевелениям во дворе, и это прибавляло пикантности его рассказам. Он был большим любителем вяленой тюльки – где он её брал в таком количестве, что она у него не переводилась? Он говорил, что присылают с Волги. В Суеже он устроился электриком на мясокомбинате и был вполне доволен жизнью. Тётка старела на его глазах, что грозило ему вскоре остаться хозяином всего движимого и недвижимого. Он бравировал

тем, что не сильно мечтает об этом. И больше всего тем, что и не помышляет о женитьбе.

– Этого добра (было ясно – какого) на мою молодую жизнь – в-во! – Он проводил ребром ладони по горлу. И начинал:

– Еду я, значит, в поезде. Народу битком, билет достать невозможно, Проводнице за верхнюю багажную полку десятку сунул, сплю. А подо-мной... Глянул и обомлел. Лежит, коленку из-под простыни выставила. Всё, думаю, больше мне сигналить не надо, подожди только, пока вагон заснёт. А поезд: тук-тук-тук. Мне не до сна. А мужик на другой средней полке лицом к ней. И храпит, гад, как паровоз. Я свесился, глянул на неё. Напряглась, глазами сочувствия просит, а окорок свой не закрывает. Я присвистнул – храпуны на свист реагируют, сосед сразу отвернулся к стенке. Она глазами благодарно сверкнула. Ногу не закрывает, светится до самых трусиков.

На этом месте Фёдор замолкает, припадая к щелке забора, смотрит во двор, как будто там таится помеха его вагонному предприятию. Витька с Игорем слюни пускают на сухую солёную тюльку. Рассказчик делает извилистое движение ладошкой и...

– Я щучкой сверху на неё, и как будто там и ехал. Мужик храпит, на нижних полках сопят. И она засопела. Хоть бы что! Молчит.

Становилось невмоготу слушать дальнейшие подробности, и первым встречает Игорь:

– А ты как узнал, что она не сбросит тебя с полки?

– Э! Тут интуиция нужна. – И вопросом на вопрос: – Вы что думаете, это самое у девок просить надо? Дашь или не дашь? – Фёдор громко хохочет, тем самым ставя точку под своим приключением.

Надо или не надо просить, Виктору рассказы Фёдора в отношении Юльки ничего не прояснили. Гораздо действеннее сработал другой чувствительный прибор – Лизка. Однажды она припёрла Виктора к стенке и, смешливо уставившись глазами в глаза, задала вопрос:

– И в кого это мы такие скромненькие? Прямо ангелочек с крылышками. Ягнёночек пушистенький. – И, артистично вскинув голову, громогласно провозгласила: – мы, женщины, любим сражения!

Наверное, это было о том же, что, хохоча, выдавал и Фёдор. Витька заметил, что Лизка в последнее время всё время водилась с Юлькой, о чём-то вдвоём разговаривали. Наверное, так у девчонок заведено, что выбалтывают друг дружке самое сокровенное. Лизкина осведомлённость неприятно задела его. Он подумал: получилось бы, как у Фёдора, навряд ли рассказала бы. Это подталкивало его к решительным действиям.

Но Юлька, как назло куда-то пропала. Они наперёд о встрече не договаривались, все уговоры вершились по субботам. Но в эту субботу её на танцплощадке не было. Саша Токарев теперь уже без заказа блестяще выдал «Дунайские волны». Витька стоял рядом с баянистом, один раз встретился глазами с тем долговязым мотористом с буксирного катера. Ему показалось, что взгляд этот злорадствовал.

Причину отсутствия Юльки не знала и Лизка. Витька после той субботы днём появился на пристани. Бакенщик Митя, как обычно, торговал стерлядкой, но не спросишь же у него про дочку. Прошёлся возле бакенщикова дома, украдкой обшарил глазами окна – никаких признаков жизни не заметил. До следующей субботы сам не вылезал с покоса. Сгребли и сметали всё сено, с Серёжкой вдоволь накупались в лесном озере с мшистыми зыбучими берегами. Про это озеро рассказывали разные легенды. Будто мужики, пытаясь измерить глубину, на вожжах опускали привязанный кирпич и дна не достали. Витька не верил, потому что уже с метровой глубины поднималась чёрно-серебристая няша. Она даже ног не марала, а смывалась, как слюдяная крошка. У поверхности вода кишела гальянами. Эта бескостистая мелкая рыбешка хваталась даже за нитку, привязанную вместо червя к удильному крючку.

Юлька появилась только через две недели. Шёл уже август и над улицами Суежа витал запах школьных парт, в беспечную летнюю жизнь ребятни и подростков вкрадывалась ржавая забота о будущих сидениях на уроках, о выходах к доске, о пятёрках и двойках. Витька готовился в десятый класс, Юлька в этот год решила поменять школу на педучилище. При встрече она объяснила своё отсутствие: мать неожиданно спровадила её на пароходе в Томск, где жила безнадежно больная тётка. Пришлось прожить там десять дней, пока её не сменила тёткина дочь, приехавшая в отпуск из Кемерова.

Танцы в этот вечер Витьке казались скучными. Дождавшись темноты, он стал думать, как уединиться, и чтобы это было меньше замечено публикой. Другого варианта, кроме помощи понятливой родственницы, у него не было. Когда девчонки оказались вдвоём, он взял их под руки и увлёк к берегу. Пустил в ход всё своё красноречие, рассказывая небылицы о чёрном озере, в котором три дня купались и ловили с братом гальянов. Они медленно шли вдоль крутого обрыва. Витька крепко сжимал локоть Лизки, стараясь подольше продержаться в своей компании. Впереди на фоне закатного неба вырисовывалась гряда развесистых ив. Юлька, раскинув руки, стала кружиться на плотном травяном ковре. Лизка пару раз хитровато взглянула на Виктора, и вскрикнула:

– Ой, я же Соньку оставила! – На лице был такой неподдельный испуг, что можно было подумать, что Сонька, её давняя подруга и одноклассница, уже без неё приговорена. Юлька и возразить не успела, как они оказались вдвоём на безлюдном берегу.

Юлька была необычно говорлива, рассказывала о днях своего житья в Томске. Витьку пьянил незнакомый запах её волос, рассказ её вскоре показался ему длинным, он начал перебивать его разными пустяковыми шутками, она смеялась, то и дело отмахивалась: «да ну тебя!»

Над водой разливались еле слышные звуки баяна и почему-то только девчоночьи голоса. Пристанский посёлок уже зажёлг огни, оттеснив темноту под разлапистые вековые липы в прибрежной долине. Пойма вдалеке упиралась во взгорок с берёзовой рощей, справа на фоне реки был чётко прочерчен край обрывистого берега. На нём можно было посидеть, свесив ноги с отвесной стены, густо продырявленной стрижиными гнёздами.

Юлька сняла туфельки и, сидя на краю обрыва, стучала босыми пятками по глинистому отвесу берега. Окружающее их безмолвие всё больше погружалось в темноту. Небо, всё ещё подсвечиваемое негаснущим горизонтом, наливалось спелыми звёздами, время от времени его полосовали огненные линии обильного

августовского звездопада.

Молчали. Витька положил руку на плечи девушки. Она вся сжалась, но промолчала, не оттолкнула его. Он прижался щекой к её щеке, ощутив холодок миниатюрной серёжки в бархатистой мочке её почти детского уха. Нестерпимо громко застучало в висках. Витька положил ладонь на её горячий лоб и лёгким движением наклонил голову назад. Юлька, повернувшись к нему, упёрлась руками в его плечи. Но лицо в этот момент было так близко, словно девушка сама отдавалась для поцелуя. Витька впился губами в её сухие губы. Юлька затихла, всё больше напрягаясь всем телом. Когда Витькина ладонь машинально легла на упругий бугорок её груди, она рванулась из-под него куда-то вниз, и он тупо уткнулся носом в пахнущую её волосами траву.

Юльки рядом не было. Вскочив на ноги, Витька увидел её внизу под обрывом. К его удивлению, девушка стояла на ногах и... громко смеялась.

– Ты что, сдурела? – невольно вырвалось у него. – Там же могла быть какая-нибудь коряга.

– А тебе слабо прыгнуть? – ответила она вопросом на вопрос.

Виктор собрался и с юлькиными туфельками в руках полетел вниз на глинистый песок осыпающегося, изрешечённого стрижиными гнёздами, отвесного берега.

Выбраться из-под обрыва было не просто.

Надо было идти далеко, до самого поворота, где река переключивала русло с правого на левый берег. Там начинался плёс с городским пляжем. Витька поглядывал сбоку на девушку, готовый к любой расплате за случившееся. Юлька молчала. Она ступала босыми ногами по самому урезу воды, разглядывая, как волны с лёгким шелестом сглаживают её следы. Витька разулся, закатал брюки и пошёл совсем рядом, так близко, что можно было обнять девушку за плечи, что он и сделал, притянув её к себе. Они целовались. Тёплая обская вода щекотала ноги, вымывая из-под ступней плотный илистый песок...

13.

После того вечера Виктору расхотелось встречаться с Фёдором, слушать его любовные истории и рыцарские наставления. Его личный опыт, Юлькино поведение напрочь расходились с завлекательными сюжетами из Фёдоровых приключений. У него сложилось убеждение, что, если действительно любви все возрасты покорны, то всякому возрасту соответствуют свои пределы любовных отношений. В эти дни ему хватало мечтательных ожиданий каждой новой встречи. Вихрем ворвалась в его ощущение счастья завоёванная им близость. Юлька трепетно отзывалась на его поцелуи. Она стала доверчива и беззащитна. Надрывать этот интимный мир ему

расхотелось. Вполне ли он был счастлив этим? Да, вполне.

Но он и не предугадывал, каким остриём войдёт в этот мир позорный случай, участие в котором ему будет нагло навязано. И, что самое ужасное, он не выйдет из него достойным образом.

Укороченные предосенние дни сделали более короткими и вечерние забавы пристанской молодёжи. Однажды... Вечер на танцплощадке подходил к концу, когда там появился подвыпивший кучерявый моторист с катера. Он подошёл к Юльке, когда Витька разговаривал с баянистом Сашей Токаревым. Оглянувшись, Витька увидел, как Юлька вырывает руку из цепкой клешни моториста. Он поспешил на помощь, но лишь только оказался рядом, сразу получил сильный удар в переносицу. Искры брызнули из глаз, а хуже всего, что по подбородку, по рубашке полилась кровь. Это отвлекло Виктора от новой неожиданной атаки, удары были нанесены по лицу слева и справа. Он еле удержался на ногах, но заметил подбежавшую к нему Лизку. Юлька маячила за сутулой спиной драчуна и, вцепившись в волосы, оттаскивала его от Витьки. Моторист с расстояния ударил Виктора ногой в пах, и он согнулся от резкой боли. Кто-то ещё сверху даванул его к земле за шею.

Он смутно ощущал себя в кругу пристанских парней чужаком, а в этой ситуации, когда между

ним и целым обществом встала рыжеволосая звезда околотка, трудно было надеяться на безоблачную жизнь, а главное – ждать от кого-нибудь покровительства, кроме Лизки. Но он ошибался. Когда Лизка с Юлькой уводили его с площадки, какая-то волна прокатилась по толпе. Возникла новая потасовка с неприличной бранью, слышались хлопки и вскрики. Витька ничего не понимал, пока не услышал, как кто-то прокричал диким воплем:

– Калган, не надо! – И другой голос: – Ты что сделал, Калган!

Толпа испуганно расступилась, освободив центр площадки, где, упёршись лбом в землю, на коленях покачивался из стороны в сторону кучерявый моторист. Витька как не видел Калгана до драки, так не увидел его и сейчас. Когда девчонки повели его к Лизкиному дому, он слышал вдалеке звуки какой-то погони, крики, позорную брань.

Сестра Анфиса умыла Витьку тёплой водой, предложила Ванькину рубаху. Юлька всё это время была рядом, но Витьке стыдно было глянуть ей в глаза. Случилось то, что в рыцарских романах назвали бы поединком кавалеров, но он, главный герой любовной истории, не проявив никакой доблести, был позорно повержен в присутствии дамы сердца.

Как после выяснится, Калган в драке лишь показал кучерявому нож, но бил его под дых и по

лицу кулаками. Вызванная «скорая» не обнаружила ножевых ран на теле моториста. Дело милиция заводить не стала. Витька знал, что Калган умеет драться. Кроме того, он был пацаном с пристани, и если бы затеял драку он, то танцплощадочная публика поделилась бы надвое. Он просто вступился за друга, хотя, Витька был уверен, это никак не возвышало его самого в глазах Юльки.

А после всё было странно. Витька ощущал себя буквально сломленным, раздавленным этим стыдом. На пристани он не появлялся ни в следующую субботу, ни в будние дни. Он вообще скрылся бы от всех глаз, если бы не подступившее уже вплотную начало учебного года.

14.

Виктор решил, что утром расспросит Сергея про всех, кого помнил из детства. Про Игоря он знал – полковник Туманов погиб в Афганистане. Родителей его, которые жили на соседней улице, он в последний приезд навещал, но их тоже лет пять, как не стало. Спросил на всякий случай, кто живёт в том доме, где когда-то обретался их с Игорем приятель Фёдор. Фёдора Сергей тоже помнит, сказал, что он после смерти тётки продал её дом и уехал из Суежа. Про Юльку напрямую спрашивать не стал, словно боялся чего-то. Или стыдился – сам не мог дать тому отчёта.

Так получалось, что в давние пристанские дела Виктора брат был мало посвящён. После той позорной драки Юлька приходила вместе с Лизкой к ним домой. Их встречи после этого возобновились. Но с наступлением учебного года по субботам перестал приезжать домой Саша Токарев. Музыки не стало, не стало и танцев на берегу.

Витькина школа была за два квартала от педучилища, они встречались, заранее условившись. Юлька выбегала из арки ворот, на ходу застёгивая замшевую разлетайку, и всегда весёлая. Домой им было по одной дороге до свёртка в подгорную часть Суежа, к пристани. Уличные прогулки чередовались с сеансами в городском кинотеатре. Такие отношения, лишённые соблазняющей близости, способствуют привыканию. Витька чувствовал рядом с собой надёжное и дорогое ему существо. Только в кинотеатре, в темноте зала, он иногда касался её колен, и она в ответ прижималась щекой к его щеке.

Любовь, наверное, не терпит медленных течений, она либо вырывается на быстрину и кромсает берега, либо затихает, как река на уширении русла, и открывается для вторжения чужих кораблей. Однажды Юлька не вылетела, как обычно из арки ворот педучилища. Он прождал целый час, замёрз на зимнем ветру. Её не было. Надо было снова ловить случай, чтобы наладить

поломанный график встреч. Такой случай не принёс Виктору радости. Юлька, увидев его, заспешила навстречу, но, оглянувшись, помахала рукой уходящему в темноту парню в мохнатом стильном треухе. Это что-то значило, а что именно, Витьке предстояло узнать через неделю.

– Ты, Вить, ничего не думай. – Говорила она, заглядывая Витьке в глаза. – Правда, правда. Меня избрали в комсомольское бюро училища, я отказывалась, говорю, что не справляюсь с экономической географией. Он предложил помочь.

Витька действительно старался «ничего не думать». Но у него это не получалось. Да и как было не думать, если с этой поры их встречи происходили только по его инициативе. Юлька и при этом не всегда соглашалась, что-то в уме подсчитывая и выбирая дни. В душе парня поднималось то противное чувство, которое в первый раз дало о себе знать после унижительной для него драки на пристани. Чувство отверженности. Он решил больше не навязываться, а подождать: будь, что будет!

Они не виделись до самой весны. Ходили по одной дороге, а не встречались. Однажды они столкнулись лицом к лицу у спортивного магазина. Она сказала, что с курсом готовятся после экзаменов в турпоход, надо купить резиновые сапожки.

Лучше бы ему промолчать, но он спросил, и получилось это некстати язвительно:

– Практический курс географии?

– Что? – сделала вид, что не поняла Юлька и отвела глаза.

– Счастливого путешествия, – с напускной весёлостью воскликнул Витька и пошёл прочь.

– Ну не надо, Витя! – почти кричала она ему в спину.

«Что не надо, что не надо, что не надо?» – говорил сам себе под нос Витька, не оглядываясь и ускоряя шаги...

15.

Днем Виктор Прохоров бесцельно бродил по городу. В центре постоял на площади, где в прошлые времена напротив райкома партии сутками орал алюминиевый радиолокол. «И почему так было заведено, чтобы радио вещало непрерывно?», – подумал Виктор. – Как метроном в войну. Будто всё время ждали какого-то оповещения. Но более мирного времени, чем было в пору его детства, кажется, и не было. Жили небогато, но на обоих сыновей была своя обувка, одежонка не хуже, чем у других. Не голодали, вели своё хозяйство: корова, два телёнка, два борова, куры.

Витька ходил мимо этой площади в школу, и колокол пел песни и передавал последние известия. Много говорилось про стройки коммунизма, про бесконечно открывающиеся адреса трудового

подвига. Всем хотелось куда-то ехать. К малым детским заботам примешивалось ощущение причастности к делам города, района, страны. Ранним утром без десяти шесть в невыключаемом динамике в родительском доме раздавался щелчок, и вкрадчивый голос местной дикторши передавал новости о сенокосе, о надоях молока в колхозах, о заготовке топлива для города. В шесть начинала вещать Москва. Ещё хотелось поспать. В тёплые летние месяцы на чердаке, или, как у них говорили, «на доме», радио спать не мешало. Но частенько мать с вечера наряжала парней отогнать корову «под пастуха». Чаще всего она делала это сама, отлучаясь со двора на полчаса, а то и больше. В этот час окраина города походила на деревню, пахла парным молоком и дорожной пылью. Витька по старшинству хитрил, вставать приходилось Серёжке. На ту пору и приходились пристанские страдания юного Ромео.

Перед тем как покинуть площадь, Виктор решил прочесть вывески на зданиях, где раньше так узнаваемо красовались красные плашки различных райкомов: партии, комсомола, профсоюза, ДОСААФ. Сейчас вместо тех старых зданий стояли две новые высотки, одна в пять, другая в семь этажей. На их фасадах вывесок было, как у иного ветерана орденов на груди. По вывескам можно было подумать, что район разрастается. Но фактически это уже был и

не район вовсе, а муниципальное образование. «Образование», – усмехнулся Виктор. И удивился сам себе: он, недавний работник министерства, плохо знал современную управленческую структуру в провинции. Непривычно было слышать вместо «село» – «поселение». Люди, выходит, приписаны не к волостям, как было позапрошлом веке, не к сельсоветам, а... к поселениям. Не странно ли, что в пенитенциарной системе места лишения свободы тоже называются колониями-поселениями. Не нашлось в языке вариантов для размежевания различных понятий.

Одна вывеска была зелёного цвета. К ней Виктора и влекло, он, больше всего занимавшийся в правительстве аграрной сферой, чувствовал некую родственность с этим цветом. В верхних строках вывески значилось, что это подразделение Министерства сельского хозяйства администрации области. Министерства, но – области! Дальнейшее было ещё удивительней: «Управление сельского хозяйства Суезжского муниципального образования».

Вот куда ему надо бы зайти. Не то, чтобы по личной надобности – поговорить о судьбе племянника-агронома, – а по зову любопытства. С высоты своего столичного, хотя и прошлого, положения он теперь окунулся в незнакомую ему жизнь своей малой родины. Вот хотя бы с такой стороны хотелось понять её: есть министерство

сельского хозяйства, есть управление, а дипломированному агроному, его племяннику, нет работы по деревенской специальности.

Но именно в этот момент он не был готов к выяснению таких обстоятельств. И с кем надо бы встретиться – ещё не знал. Есть руководитель этого самого муниципального образования, наконец, есть начальник управления сельского хозяйства... Но он, Виктор Прохоров, отставной начальник главка федерального министерства, для местного чиновника – никто. Пока этот чиновник рассыплется перед ним мелким бесом, – а рассыплется обязательно, не каждый день в глухой провинции появляются такие даже отставные фигуры – ему надо будет долго объяснять, кто он такой и по какому представляется поводу.

Эта мысль во время прогулки по городу занимала столичного гостя ещё и потому, что он чувствовал себя полностью отчуждённым от этого географического объекта. Это придавливало его, унижало. Но видя в этом причину своей душевной стеснённости, Виктор обманывал себя. Он даже мысленно боялся прикоснуться к истинной причине своего ничтожного самоощущения. Причина была в том, что он каждой клеткой своей ощущал и как бы винился за то, что пока государство возносило его над этим местом, возвеличивало должностями и положением, его исток приходил в запустение,

опускался во мрак, в состояние беспомощности, становился изморным для общественного и государственного организма. Здесь за последние десятилетия не появилось ни одного предприятия. Они там, в Москве, сочинили закон о местном самоуправлении, а чем здесь управлять, из чего составлять бюджет, на какой почве самоуправляться – никто об этом, похоже, не задумался.

Ноги сами несли его по бетонному тротуару к месту слияния двух центральных улиц – Советской и Комсомольской. Комсомольскую теперь переименовали в Воздвиженскую – в честь восстановленного на этой улице храма. На слиянии двух улиц в бывшем сквере с памятником Ленину разбит мемориальный сквер, десятка два мраморных стел сверкают золотом высеченных на камне фамилий. Виктор остановился, машинально пробежал по строчкам до буквы «п». Прохоровых было двое – это родные братья отца. Один из них – отец Анфисы. Отдельная стела поставлена для «афганцев». Виктор вздрогнул, увидев надпись: «Полковник Туманов И.В.». А несколькими строками ниже: Старший сержант Серёгин В.П. Это было настоящее имя Калгана.

Неподалеку от этого места находилась школа. Виктор подсчитал, сколько же лет прошло, как он слушал последний звонок, как сдавал последний экзамен. Уж почти полвека! На месте его школы

теперь стояло бетонное трехэтажное здание новой десятилетки. Или это ему показалось, или так было на самом деле – открытые окна дышали на него запахом высыхающей краски. Так всегда пахли летние школьные каникулы.

Что-то ещё не отпускало его с городских улиц, к чему-то влекла душа, а ноги шагали и шагали. Он оказался перед входом в городской сад. Ворота были убраны, металлическую ограду сняли и перенесли к храму. Но сохранились аллеи, ещё выше поднялись тополя, раскустились вдоль прогулочных дорожек акации.

Виктор побрёл по центральной аллее, свернул вправо и увидел-таки фрагменты старой, хорошо запомнившейся садовой ограды. Считалось доблестью для пацанов перелезть через неё, минуя платный, за два рубля, вход в городской сад. В одиночку Виктор никогда не «ходил» сюда запретным путём. Здесь легко было попасться на глаза милиции. «Доблесть» исходила от Калгана. Они перелезали в том месте, где ограда утыкалась в стену здания школы.

Много раз Виктор сюда приходил с Юлькой. Это было после окончания первого курса университета. Они тогда снова были вместе. Из сада он провожал её на пристань. Время текло легко и весело.

Но это было последнее лето их беспечной и чистой любви. Разрыв Виктор впоследствии

объяснял роковым сошествием двух несовместимых факторов: трепетности молодых чувств и мужской неопытности. Виктор не находил слов для объяснения ситуации, которая тогда оказалась сильнее их обоих. Девчонки предпочитают своим ровесникам более взрослых кавалеров, и они смелее прорываются через таинства и преграды. Перед чем он робел, то легко преодолел другой. И после невинного вальсового лета Виктор получил в письме, присланном в университет ему, студенту второго курса, несколько строчек: «Витя, прости меня. Я любила тебя и буду любить. Но так вышло... Ты помнишь того парня со старшего курса. Я от него беременна и выхожу замуж». Он без ответа выслал ей её фотографии.

Виктор остановился перед огороженной танцевальной площадкой. Очевидно, здесь кто-то теперь приютил свой частный бизнес: у входа стояла кассовая будка с притороченной табличкой, на которой значилась цена за вход на дискотеку. Там, где раньше была сцена с оркестровой чашей, и оркестр по вечерам оглашал, по меньшей мере, полгорода звуками вальсов и танго, стояла тумба, очевидно, для какого-нибудь музыкального аппарата. Что Виктора немало удивило, покрытие танцплощадки было сделано из шлифованных бетонных плит, между которыми во многих местах даже стыки были заделаны небрежно и зияли

щели. Но в шелесте тополиных листьев Виктору вдруг почудились звуки «Дунайских волн» – этот вальс здешние оркестранты играли с особым вдохновением. А, может, ему это только казалось.

Безмолвие сада между тем нарушало шарканье метлы – пожилая женщина сметала с аллеи облетевшие тополиные серьги. Она остановилась, пропуская неожиданного прохожего. Но Виктор тоже остановился, ему захотелось поговорить. И он спросил:

– А что, вальсы здесь больше не танцуют?

– Какие вальсы? – удивилась женщина.
– Теперь только топочут, как эти... – Кто «эти» – она не договорила, махнула рукой. Виктор любопытствовал об оркестре, он даже вспомнил лица некоторых музыкантов. Женщина ответила, что трубы куда-то из дома культуры растащили, теперь вся музыка из колонок. Но вот недавно хоронили погибшего в Чечне милиционера, какие-то три или четыре трубы играли на кладбище. Всё, что осталось...

Кивнув, Виктор прошёл мимо, и еще долго ощущал на спине любопытствующий взгляд собеседницы.

16.

Сергея он застал дома за хозяйственными занятиями – брат выкашивал в огороде крапиву,

наросшую вдоль изгороди. В воздухе стоял одуряющий запах поверженных жгучих стеблей. После душных городских улиц дышалось легко. Закончив косить, Сергей приторочил инструмент под стрехой на стене сарайки, и, вернувшись во двор, нырнул в погреб. Поднялся с запотевшей бутылью. Виктор охотно сел за столик под поветью, холодное пиво было сейчас как раз кстати. И, наконец, надо было кое о ком расспросить Сергея.

Начал в обход, с Юлькиного отца – бакенщика Мити. И сразу пошла раскручиваться история с несколькими сюжетами, так что Виктору не потребовалось задавать дополнительных вопросов. Поскольку Сергей до самой пенсии работал на приписанных к сужескому рейду судах, он знал и Митю. Тот постоянно промышлял стерлядкой, а потом к нему навязался рыбнадзор. Несколько раз штрафовали, грозили судом. В общем, отлучили его от рыбалки, после чего он и бакена зажигать отказался. А в семье настоящая трагедия случилась.

– Я знал, что Митя умер, – помолчав немного, снова начал Сергей. – А про дочку его узнал только вот лет пять назад, когда Елизавета приезжала, они ведь были подружками. Я уж о тебе не говорю. – Отглотнув пива, Сергей хитро уставился на брата, как бы дожидаясь реакции. Виктор, насторожившись, никакого ответного знака не подал. Сергей продолжал: – Юлией её звали. Девчоночка от неё

осталась, а сама руки на себя наложила, наглоталась сонных таблеток и померла. Ну, скоро после этого и сам Митя умер. Мать внучку подняла, замуж выдала. Где она сейчас я не знаю. Она с Виталькой моим в одной школе училась. От кого-то слышал, что тут в доме родителей её тётка живёт, сестра той несчастной – у Мити-то было две дочки. Одна, я знаю, на пристани парикмахершей работала. А вот с той, с Юлией, такая история приключилась. – Сергей снова изучающе глянул на брата.

Виктор сидел, обмякший. Всё, что угодно ожидал услышать про свою первую девушку, только не про такую смерть. Сергей сделал вид, что не заметил растерянность брата, наполнил кружки. А Виктор стыдился выявить слабость, она, вроде, даже и не вязалась с той отдалённостью событий, к которым он был причастен. Слава Богу, ему не в чем было себя упрекать, Юлька тогда не оставила ему вариантов для выбора. Знала бы она, как он мучился после их разрыва. Переживал это, как удар в самое больное место. Он её берёт, жалел, а она, как бабочка, сгорела в чужом костре.

Надо было отвлечься. Пиво как раз было кстати. Виктор стал рассказывать о путешествии, посетовал, что никого не встретил знакомых. Нельзя, нельзя так надолго исчезать из родных мест! Надо, чтоб всегда сохранялась ниточка для узнаваний: лиц, имён, кварталов и переулков.

Чтоб тебя узнавали. Насколько тогда было бы легче будить и оживлять свою стареющую память! Зачем? Чтобы годы разлуки с родиной не казались пустым, безвоздушным пространством...

17.

Ночью его разбудил дребезжащий гудок теплохода. Он с вечера задумал посетить заветное место – пристань. Прямо теперь хотелось сорваться и, как в детстве, исчезнуть из дома. В полудрёме он даже видел себя, нелепо маячившим в чёрном костюме на торфянистой дорожке через пойменную низину.

Но утром напрямик через низину не пошёл. Доехал на маршрутном автобусе до первой остановки и пешком пошёл от того места, где расходились обычно их пути с Юлькой по дороге домой из школы. Впереди светящейся лентой маячила Обь. Пристанский посёлок с его старыми домиками издали казался стайей серых куропаток, готовых в каждую минуту взлететь и рассыпаться. Дальше, за домами, где водная гладь сливалась с небом, белёсую синь то ли воды, то ли неба рассекала темнеющая гряда уцелевших старых ив.

Виктор сначала решил пройти по посёлку. Дома, где жила его сестра Анфиса с Лизкой и Ванькой, не было, на том месте построили магазин. На вывеске значилось: «ПБЮЛ. Дмитрий

Петрович Спехов». «Пбоюл», – усмехнулся Виктор. – Напридумывали же: предприятие без определения юридического лица, ПБОЮЛ. Где только таких слов набрались? Как где? У нас же, в Москве. Рыночники тупоголовые. ООО – общество ограниченной ответственности! Район – образование. Деревня – поселение. Управление – муниципалитет. Какая скудость мышления!»

«Что я об этом разволновался?» – осадил себя Виктор. И понял причину волнения: впереди показался дом бакенщика Мити. Виктора охватила странная робость, ему показалось, что кто-то уже оттуда смотрит на него. Он перешёл на противоположную сторону улицы, дом отсюда был виден лучше, а он сам стал просто прохожим. На окна старался не смотреть. Подумал: кто сейчас здесь живёт? По рассказам брата, выходило, что – Юлькина сестра. Виктор с ней не был знаком, в те времена для подростков было не принято ходить в дома девчонок. Сейчас этот дом изрядно покосился. Палисадник, как будто, остался прежний. И скамеечка, где они с Юлькой просиживали до петухов. Петухи голосили в Юлькином дворе, и она каждый раз пугалась, что крик этот разбудит спящее семейство. Надо было убраться по домам, пока за калитку не вышел гасить свои огни на реке бакенщик Митя.

Улица сейчас была пуста. Виктор облюбовал скамеечку у палисадника напротив Юлькиного

дома и присел. Вкрадчиво осмотрел все окна, но в них не заметил никаких признаков жизни. У калитки ходили куры, в стайке несушек горделиво прохаживался краснопёрый петух, выбирая одну за другой зазевавшихся соплеменниц. Было забавно наблюдать эту картину. Она отвлекла Виктора, он даже не заметил, как рядом оказалась согбенная старуха с клюкой. Виктор первый поздоровался, виновато подвинулся на край скамейки. Любопытство, таящееся во взгляде и в сосредоточенности этой женщины, не предвещали скорого расставания, и Виктор заговорил первым:

– Тихо как здесь у вас. Иду от пристани, вот присел...

– Тихо, пока на мотоциклетах ребята не выехали, – подхватила разговор старуха. – А тады тарахтять, спасу нет.

Усаживаясь на скамейку, старуха сбоку продолжала сверлить его пристальным взглядом. Потом спросила:

– Ты чей же будешь, што-то я не признаю.

– Не знаете вы меня, мамаша. Я из городских. А тут у меня сестра жила сродная. – Виктор назвал Анфису, и сам того не ожидал, что разворошит такой источник сведений, до какого и не мыслил добраться. Старуха была почти ровесницей его двоюродной сестры, а её дочь Лизку она помнила потому что...

– Вот тут Юля жила, царство ей небесное, они ж с Лизой были подружками. Хорошие такие дядьчонки. Юле-то незавидная судьба выпала. А про Лизу я ничего не знаю.

– А что же случилось? – повод расспросить подробнее про Юлю сам шёл ему навстречу.

Собеседница с ещё большим откровением сбоку осмотрела Виктора и, видно, проникшись доверием, продолжила: – Марья-покойница, Юлина матка, рассказывала, что жила Юля с мужем в Богатове. Ён быв директором школы. И возьми её ревновать. Ина ж, Юля, была бойкая и красивая. Видно, не вмочь стало, приехала от него сюда с годовалой девочкой. И ён за ей увязався. Тут пить начав, под заплотом валявся, Юлю срамив. Ина, дурочка, пилюль наглоталась. Пока скорая приспела, ина и готовая. Дочка вот иеная, Надюшка, ноне из Краснодара приехала, тут у тётки у гостях. Со своей девочкой – ну, вылитая Юля. А вон яны из магазина идут. – Старуха встала со скамейки и пошла к калитке.

Виктор мог спокойно рассмотреть приближающуюся пару. Красивая, стройная женщина с прибранными под косынку тёмно-русскими волосами несла хозяйственную сумку, слегка прогибаясь на один бок. Девочка-подросток лет пятнадцати шла рядом, держась за вторую ручку сумки, походка её была легкая, играющая.

Казалось: отпусти она эту ручку, и полетит. Две рыжие косы, перекинутые на грудь, струились до самого пояса.

Женщина с девочкой неотвратно надвигались на Виктора, и ему начинало казаться, что он теряет ощущение собственного тела. Было похоже, что они уже его заметили, девочка кивнула в его сторону и, наклонившись к матери, что-то, смеясь, шепнула. Та пристальнее посмотрела на него и что-то ответила. Поровнявшись, они поздоровались, Виктор вежливо ответил и смотрел уже сбоку, как мать с дочкой спокойно направлялись к своей калитке. В оставшиеся до отъезда дни он будет жалеть, что не нашёл повода остановить их и поговорить, а главное насмотреться на живую копию – старуха была права – своей первой девушки, которая молнией просияла в его жизни, обожгла, а потом странно так и медленно угасла. Теперь вот, для кого-то другого суждено повторение волшебного очарования. Ему, человеку неверующему, вдруг захотелось молиться, чтобы это повторение было счастливым.

18.

Узнав номер телефона начальника управления сельского хозяйства, Виктор позвонил с мобильной трубки, представился.

– По какому вопросу? – традиционно справилась секретарша, видимо, пропустив мимо ушей названные «титуты» звонившего. Прохоров представился во второй раз, попросил доложить. Минута тишины в трубке сменилась бурным возгласом приветствия. Начальник, назвавшийся Семенцовым Игорем Ивановичем, признался, что был наслышан о приезде московского гостя, но не посмел вторгаться в его «очарование малой родиной».

– А, знаете, надеялся, что удостоите, надеялся... Когда же будем иметь удовольствие?

Виктору стало не по себе от такого реверанса, он ему показался неискренним, даже ироничным: «будем иметь удовольствие...». Он мало общался с провинциальными чиновниками, в командировки из министерства ездил лишь изредка, при этом чаще всего в составе делегаций, и субординационное раболепие наблюдал больше со стороны. Большой кабинетный слон, – так характеризовал он себя по служебной линии, – ноги мог отдавить любому, но сам семенить перед кем-либо не приучен. И, Бог миловал, проносило.

Согласовали встречу на конец этого дня. Брату Виктор объяснил свои намерения простым любопытством по части некоторых проблем, к которым сам имел непосредственное отношение там, наверху, когда заваривалась вся перестройка.

О намерениях походатайствовать за племянника Виталия умолчал, а, впрочем, он ещё и сам не был готов к этому, полагался на ситуацию, какая будет складываться при встрече.

Секретарша, красивая молодая женщина с ярко нарумяненными щеками, встретила с «неслужебным» любопытством:

– Вы родной дядя Виталика Прохорова? А, знаете, похожи. Я с Виталиком в одном классе училась. – И, не дожидаясь реакции гостя на такое признание, нажала кнопку на телефонном аппарате: – Игорь Иванович, в приёмной Виктор Петрович Прохоров.

Распахнулась дверь, в приёмную с широкой улыбкой вышел не по росту тучный, с узкой прядью седины в черных вьющихся волосах добрый молодец. Двумя руками стиснул руку гостя, под локоть повёл к себе в кабинет.

– Чай, кофе? – Хозяин указал на кресло у низкого журнального столика, сам уже нажал кнопку селектора на рабочем столе и ждал, пока в динамике послышится ответный щелчок. Виктор машинально заказал чай, хозяин удовлетворённо кивнул и сел в кресло напротив гостя. Лицо у него располагающее, весёлое. Сразу включился в тему местных событий:

– Из области запросили, сколько мы готовы заказать для хозяйств миниферм. Легко обещают

кредиты для фермерских хозяйств. С потолка посмотреть – дело интересное.

Прохоров был в курсе этих дел. Его департаменту в министерстве поручали дать экономическое обоснование к проекту обеспечения фермерских хозяйств малыми фермами на двадцать, сорок и сто коров. Расчёты он сам докладывал министру, и знал, что цифры без изменений ушли в правительство. Хотя его департамент в Министерстве экономического развития близко соприкасался с аграрной отраслью, «пахарем» в сфере сельского хозяйства Виктор себя не считал. Однако сейчас легко вошёл в тему, благо, что помнил цифры. При продуктивности коров не ниже четырёх тысяч литров в год и при закупочной цене на молоко не ниже восьми рублей за литр фермер может выгодно вести дело и рассчитаться по кредитам за четыре года. Он сказал Семенцову об этом, чем и подлил масла в огонь.

– Вот это и есть, что я называю взглядом с потолка.

– Как это понимать? – Виктор пристрастно насторожился.

– А вот как, – ничуть не смутился хозяин. – Кредит банк даёт под залог. А нечего заложить – требуют гарантию погашения кредита. Эту гарантию должен дать я, то есть управление сельского хозяйства муниципального образования. А, представьте себе, что я не хочу брать на себя персональную

ответственность за платёжеспособность двух десятков фермерских хозяйств. И объясню, почему не хочу. Мне не дано право регулировать закупочные цены на продукцию. В сферу закупа мне вмешиваться запрещено, хотя молокозавод находится на нашей территории. Им руководят с другой колокольни. В зимнее время, когда, образно выражаясь, молочные реки мелеют по естественным причинам, он может платить за литр и по девять рублей. Но молока зимой – кот наплакал, на выручку от реализации не разживёшься. А вот с марта начинается растёт коров, пошло молоко, в апреле – больше, в мае-июне – это уже настоящая река, а переработчик-монополист опускает цену до четырёх рублей. И управы на него нет. Это такой пунктик, извините, что не выгодно ни повышать продуктивность стада коров, ни увеличивать поголовье. Тупик. Почему он не учтён? Столичные экономисты его нам переадресовали, мол, разруливайте на местах? А не разруливается, представьте себе, Виктор Петрович.

Семенцов замолчал, являя тем самым удовлетворение, что поддел столичного экономиста, но Прохоров из этого лишь вывел то, что с биографией его на малой родине всё-таки знакомы.

– Что-то мы с тяжких проблем начали, – начальник управления рассмеялся: раскованно, по-хозяйски, и это прибавило Виктору расположения к нему. – Но я, всё же, завершу мысль. Вчера и сегодня

объехал все двадцать две деревни, где бывшее колхозное хозяйство перешло к фермерам, и только в двух деревнях согласились взять под кредиты «сороковки». Уже и сорок коров некому доить. Правда, экспериментально предлагается вариант миниферм со шведскими манипуляторами для доения, но это ещё такой же кредит надо брать. Но, вы же знаете, что долгосрочные кредиты у наших банков не в чести, дают только краткосрочные. И вот опять я за своё: что там, в Москве на этот счёт соображают, ведь известно, что у нас только полеводство способно прокручивать баланс за год-два. А всё остальное требует долгосрочного кредитования.

Он рассказал историю:

– Я после института приехал агрономом в колхоз, председатель был вообще без образования, старый крестьянин кулацкой закваски, замученный властями до изнеможения. Он мне говорил, потому что некому было, кроме меня, это сказать. Говорит: если когда-нибудь, Игорёк, попадёшь в верхи, то есть во власть, на которую он имел зуб, то скажи там, что руководителем страны – страны! вон куда хватил – может становиться только человек с производства. Если он сам, говорит, хотя бы на малом хозяйстве не познал, что такое экономический и хозяйственный баланс, его близко к руководящему креслу подпускать нельзя. Иногда я думаю, что он был прав.

Ведь руководят сегодня не стратеги, а менеджеры.

Раздался телефонный звонок. Семенцов отвечал односложно: «Понял. Спрошу. Предложу. Нормально», – улыбнулся телефонной трубке, и Виктор понял, что диалог каким-то образом касается его. Начальник управления к креслу возвращался с хитровой улыбкой и без обиняков сообщил:

– Глава района предлагает нам переместиться к нему. Он знает о нашей с вами встрече.

Пришлось согласиться, хотя Виктор сразу знал, что формат встречи непредсказуем. Семенцов повёл его не к парадному подъезду семиэтажного здания администрации, а они вошли в узкий коридор с торца. В конце его цветной мозаикой светилась двухстворчатая дверь, она была приоткрыта, и на пороге их встречал дородный мужик простого крестьянского вида. Рука Прохорова, человека довольно не мелкого, утонула в широкой ладони хозяина, представившегося главой администрации муниципального образования Титовым Иваном Семёновичем. Для размягчения эффекта от встречи Прохоров нашёлся пошутить, что вот, мол, Игорь Иванович называет ваше образование по-прежнему – районом. Фраза пришлась к месту, Титов отреагировал моментально:

– Район и есть. Но вам же, в Москве, захотелось, чтоб всё было по-заграничному. – Титов при этих словах потрянул Прохорова за локоть, мол, чур,

не обижаться. – Вот мы теперь – муниципальное образование. Ну почему бы тогда не назвать район – уездом, сельсовет – волостью. Губернию хоть и не официально, а всё же в лексикон возвращают. Глава области у нас аж лосниться от удовольствия, когда его губернатором навеличивают. Жалеет, поди, что не генерал-губернатором.

– Может, и вернёмся к тому, как было при царе-горохе, – подхватил Семенцов и рассыпался подобострастным хохотом.

За спиной слонообразного Титова открывалась светлая комната со столом посередине. Стол был уставлен закусками. На углу напротив массивного кресла стояло не меньше полдюжины бутылок. Виктор определил, что это место хозяина. Он насторожился бы от такого гастрономического изобилия, окажись здесь по служебной надобности. А теперь только подумал с опасением: не получилось бы по Гоголю. Он ведь им сейчас гвоздя не может посулить, а это угощение немало стоит.

Всё они, оказывается, знали. Натура русского мужика такова, что его хоть в стерильном помещении оставь – всё равно курнёт в форточку. А Прохоров после этой встречи будет удивляться: ну, не впервой ему видеть людей, раздваивающихся в суждениях – официальных и тех, что «не для печати», – но чтобы занимать руководящие должности и так откровенно иронизировать по адресу высшей власти – такого

явного раздвоения ему встречать не приходилось. Начало атакам на официоз положил Семенцов ещё в беседе тет-а-тет. Титов превосходил его и в откровенности, и в дерзости. После двух тостов – за знакомство и за малую родину – он всей своей слоновьей мощью навалился на разборку кризиса в стране.

– Не мною сказано: кризис не в экономике, а в головах у тех, кто нами руководит. Может, вы там, в Москве, его раньше не знали, а мы на земле из кризиса никогда и не выходили. Против кризиса кожа на спине задубела. И мы против него вакцину раньше Москвы изобрели. К нам прислушиваться надо было, у нас советников искать, а не по заграницам. Жизнь к девяностым годам уж наладилась, можно сказать. Прирост населения в сельской местности пошёл. В колхозах уже не за палочки работали. И не стало такого, чтобы от области ждали, что, где и когда сеять. Мало-мало дела стали налаживаться, и тут они там – где «там», указал поднятой рюмкой с коньяком – давай колхозы распускать, землю на паи делить. Хорошо ещё, что на бумаге, а если б нарезать в натуре стали, да Иван против Петра за полоску чернозёма с вилами пошёл, они б нам Чечню по всей России матушке учинили ещё в девяносто втором. Вы, я знаю, экономист, в том самом министерстве работали, – он не назвал министерство, что Прохорову показалось

ещё больнее. – Я Томский университет закончил, тоже экономику изучал. Экономика – это всегда политика, а политика в применении к обществу это экономическая реальность – сердито усмехнулся – в применении (сказал с нажимом) к муниципальному образованию. Это моё толкование политэкономии.

– Предлагаю выпить за хорошую мысль, – Семенцов, похоже, ловил момент «размочить» излишне деловое начало встречи. Титов рюмку взял не сразу, помолчал, набывшись, затем совсем уж неожиданно для гостя выложил, как на исповеди, что его срок во власти уже подходит к завершению, через три месяца новые выборы, и он уже знает, кто победит. Титов посетовал, что за две четырёхлетки своего хозяйствования ничему не смог противостоять: колхозы от развала не уберёг, скот на фермах вырезать не помешал, предприятия в Суеже от банкротства и ликвидации не спас.

– Зря, что ли, два срока должность в руках держал? – Не то спросил, не то сказал утвердительно. – Одно могу сказать, Игорь не даст соврать: ничего от своей власти себе в личную пользу не отломил, перед людьми на равных с ними не стыдно будет дальше существовать. Вот теперь выпьем. Честь имею, как говорили в старину.

Прохорову припомнились слова брата Сергея о проданной неким областным богатым окраине Суежа под застройку коттеджами. Сомневаться

в искренности горьких признаний главы района теперь ему не хотелось. Получалось, что и продаже окраины города он «не смог противостоять». Перед кем? Перед плутоватым могуществом высшей власти? Не вопрос, районный городок не пуп земли, здесь лишь первая ступенька иерархической лестницы. А ступенек до Москвы – о-ё-ёй сколько!

Чувствовал Прохоров себя в этом застолье неловко. Не нравилась ему явная раздражённость Титова. Как будто, тяжесть какую хотел разделить с компанией, которую сам к себе и пригласил. Не хватало только, чтобы он начал сейчас грузить вопросами завсю вселенную. Это снего могло стать, если уж выдаёт за доблесть свою непорочность. «Ничего не отломил», видите ли, от власти! А он, Прохоров, что отломил? Много чего повидал, но кроме зарплаты и положенных премий, ничего домой не носил. Но, насмотревшись за несколько дней пребывания на родине картин разрухи и бесперспективности, он мог, подобно Титову, теперь пенять себе и за те полученные премии. Разваливал там, в столице, вместе с компанией самодовольных, вылупившихся из брежневского застоя чиновников, семидесятилетние устои советской власти, натаскивая на них непонятные, чужеродные одежды вроде муниципальных образований, поселений и местных самоуправлений. И получал за это премии. Скорее бы кончился этот странный ужин, ему бы уйти

восвояси, не дай Бог, этот раздражённый правдоруб сейчас начнет требовать отчёта за всё, чему он тут, в дремучей глубинке «не смог противостоять».

При этом хотелось и ему всё же чем-то ответить землякам на их такое неожиданное доверие, но он молчал. И глубоко сочувствовал. Легче от этого, однако, не становилось. Хорошо, что рядом был Семенцов. Этот, ещё два часа назад незнакомый человек, теперь, против угрюмого Титова, казался Прохорову совсем родным и близким. Он остроумно подначивал главу района то на охотничьи, то на рыбацкие воспоминания. Перемежал их тостами и анекдотами. Время от времени он выскакивал куда-то за дверь, после чего непременно у стола появлялась дородная официантка в накрахмаленных рюшах и в кокошнике. Стол пополнялся румяными стерлядками, грибочками, присахарённой брусничкой.

С каждым тостом заметно легчало и хозяину. Голос у него басовитый, громкий, говорил он, не напрягаясь, почти что одними губами, край стола прогибался под его локтями, взгляд под тяжелыми густыми бровями был даже при шуточных повествованиях серьёзен, что выдавало в рассказчике незаурядную способность держать прицел любой компании на себе.

Неумолимая вещь – логика. Она вновь и вновь заводила беседу вглубь местных проблем.

И Прохоров при этом невольно ощутил где-то внутри себя невыразимое шевеление этих проблем. Глубоко-глубоко. Казалось, глубже сердца. По праву, по совести и по обязанности столичного, в недалёком прошлом государственного чиновника. Нечаянно пришли на ум когда-то потрясшие его строчки стихов: «нет моей вины, за тех, кто не пришёл с войны». И простреливающая на вылет заключительная строчка поэта: «но все же, всё же, всё же...»

Он по деталям, по датам, а то и по лицам мог восстановить в памяти те события в столичных инстанциях, которые вряд ли кому тогда грезились виной за судьбу российских окраин, которые ныне обречены на вымирание. Не он принимал решение о роспуске колхозов и совхозов, которые давали сотням таких Титовых, Семенцовых и, кстати, Прохоровых, работу, надежду, жизнь у себя на родине. Не он решал о разделе общественных земель и имущества на паи и доли. Но всё же, всё же, всё же...

Списками, пачками вываливались из жизни местные предприятия, люди, кто мог, и у кого нашлось куда, разъезжались. А Москва придумывала для этих окраин вместо райкомов и райисполкомов «муниципальные органы», «органы местного самоуправления», а «самоуправление» обрекалось и на «самообеспечение». Титов не

преминул пробубнить своим рокочущим голосом и о проблемах бюджета, сказал это с нажимом, как будто подбирая специальную карточку для него, для Прохорова, бывшего министерского экономиста:

– Какой может быть муниципальный бюджет, если, обанкротившись, самоликвидировались наполнявшие бюджет производства. – Он перечислил полтора десятка сужеских предприятий, которые пару дней назад перебирали в памяти и Виктор с Сергеем. Они пекли пряники, шили одежду, выделывали кожу, мастерили телеги для гужевого извоза, катали валенки, делали пиво, обжигали кирпич, собирали и перерабатывали дары природы. Не Бог вещь какая продукция, не космическая, но народ получал зарплату. – Москва придумала для них «Закон о банкротстве». Это как расписание электричек... в небытие.

Прощались, делая вид удовлетворённости встречей. Титов, изрядно захмелевший от коньяка, стиснул Прохорова в своих медвежьих объятиях. Он уходил первым, как и подобает уходить от застолий первым лицам. Семенцов ненавязчиво пристраивался проводить Прохорова. Виктор возражать не стал. Над городом уже сгустились сумерки, редкие фонари выхватывали из темноты рыжие пятна тротуаров. Было безлюдно. С Семенцовым Прохоров ощущал себя более комфортно, чем с Титовым. Потому и пришло

решение излить затаённую мысль о судьбе племянника, агронома, работающего на мойке автомашин. Другого случая для такого разговора ему и не предвиделось.

Начальник управления сельского хозяйства принял подачу с достоинством. Помолчал, затем поинтересовался планами самого протеже, действительно ли он хочет работать по специальности. Виктор откровенно признался, что просьб каких-либо от племянника не было, что это он по наитию вникает в несуразность ситуации. Агроном моет машины, а ведь учился хлеб выращивать!

– Я бы вам показал одно место, но идти туда сейчас несподручно. – Загадочно отозвался Семенцов. – У нас половину бывшей территории хлебоприёмного предприятия в прошлом году продали под сетевой магазин «Копейка». Москва, оказывается, проявила заинтересованность. Дирижёры нашлись из области. Нажим на Титова, скажу по секрету, был такой, что на нём он и надломился. По всем статьям ему рано оставлять пост главы района. Народ его любит. Но губернатор свой флюгер сориентировал на другую личность. Не удивляйтесь, приоритет за «Копейкой». Это я рассказываю для того, чтобы было понятно о приоритетах вообще. Раньше колхозы в районе в урожайные годы сдавали местному предприятию

«Заготзерно» до семидесяти тысяч тонн зерна. Склады набивались битком, по Оби баржи шли в Томск и в Новосибирск с нашим зерном. Из северной пшеницы, конечно, доброго хлеба не выпечешь, но она шла в обмен на муку. И здесь у нас работал свой комбикормовый завод, скота район держал пятьдесят тысяч голов. Такого больше не существует. Фермерские хозяйства, которые зацепились за землю бывших колхозов, сейчас зерна производят мизер. Продать его – это ещё одна проблема. А вкладываться в пашню без гарантированного сбыта – это ж сумасшествие!

Без дальнейших слов Прохорову было понятно, что агрономом его племяннику на родной земле не быть. И Семенцов, зная это, повёл разговор в другую сторону. Начал с себя. Что всерьёз думает взять кредит и «вложиться» в одну из сохранившихся ещё деревень бывшего пригородного колхоза. Логика этого «запева» вела и к затронутой Прохоровым проблеме. Если парень с головой и с соответствующим устремлением, Семенцов согласен взять племянника в пристяжку. Есть на примете ещё одна подходящая деревня. Воспользовавшись новой идеей московских властей можно за кредит отстроиться, завести дело. Риск, конечно, не исключён. Но по молодости только и рисковать!

Семенцов смотрел на Прохорова, будто тут же хотел вынуть из него утвердительный ответ. Сонная

ива просеивала на них свет от одинокого фонаря. Тёплая июльская ночь плотно облегла деревянные кварталы окраинной части города с редкими огнями в окнах. До дому Виктору оставалось идти метров триста по темноте. Семенцов порывался проводить его дальше, но Прохоров остановил его, заверив при этом, что семейно обсудят предложение и при положительном решении племянник сам найдёт к нему дорогу.

Прощались, как водится, не на век. Как же иначе можно прощаться землякам!

19.

Брат со снохой ещё спать не легли, ждали. Но приставать с расспросами не стали. Виктор оценил это с благодарностью: наговорился и наслушался вдоволь. Отказавшись от чая, принял предложение ночевать сегодня в доме. Отпускать гостя по лестнице на чердак в полночь Сергей с Веруней дружно воспротивились. Едва раздевшись и мысленно оценив прелести домашнего комфорта, Виктор провалился в небытие.

Утром делился впечатлениями. Отрывочно пересказал содержание беседы. Сергей удивился, услышав о планах главы района Титова относительно будущих выборов. По его сведениям «этот медведь» предназначался для Суежа ещё на десятилетие. Когда Виктор спросил про «Копейку», брат, как

будто, что вспомнил, приложил ладонь ко лбу и издал сквозь сложенные трубочкой губы странный звук, вроде запеть собирался. Виктор удивлённо затаился, ожидая свежих новостей. Что же такое брату открылось за словом «Копейка»?!

– А вы знаете, чей коттедж стоит в березнячке за нашим огородом? – не то к Виктору, не то к жене обращался Сергей, всё ещё пребывая в удивлённом состоянии. – Это же хоромина Муравлёва, хозяина «Копейки»! Магазин собираются открыть к октябрю, как раз к выборам. Он в области партию «Единая Россия» возглавляет. А Титов, кстати, беспартийный. Время беспартийных опять кончается. Но народ говорит, что по весне нынче сам Петелин, губернатор, к Муравлёву на хлеб-соль заезжал. Бритоголовые охранники до полночи торчком на дороге стояли. Во-он оно что! Ты, брат, мне настоящую ликвидацию безграмотности устроил.

Веруня, как всегда, засмеялась, она это делала естественно, будто беседу поддерживала, не то, что Семенцов, раздражавший вчера своим подобострастным визжанием. Кстати, дальше речь пошла о Семенцове. Виктор признался, что ходил к нему специально в разведку на счёт племянника. Стал рассказывать обо всём подробно. Без обиняков заявил, что вариант с фермерством в деревне ему самому кажется привлекательным.

– Но ведь с потрохами же надо заложить всё

движимое и недвижимое за кредит, – испугался Сергей, и Вера уронила чайную чашку на блюдце. – Я плохо разбираюсь, что такое лизинг, но догадываюсь, что за одну корову надо будет вернуть полторы. А эта шведская дойка... она и есть – шведская. Из Москвы, может, она и доступной кажется, а отсюда поглядеть... Где мы, а где та Швеция! Шайба полетит, и надо сервис оттуда, или, по крайней мере, из Москвы заказывать. А доярок нанять уж не из кого, девки в деревнях все исплясались да изработались.

Сергей разошёлся не на шутку. Будущую «Копейку» с убеждённою знатока в свою тираду вставил:

– Это будет торговый монополист в районе, к нему с молоком и мясом на хромой козе не подъедешь. А куда фермеру девать продукцию? Нет, «Копейка» будет её брать, но за какие копейки? То-то и оно!

Разговор заканчивали на шуточной ноте – ничего ещё не было потеряно, зачем зря расстраиваться. Виктор решил, что племянника смущать предложением Семенцова не будет. Захочет Сергей – пусть сделает это сам.

20.

Отъезд Прохорова был намечен через два дня, как раз на воскресенье. Виктор тайком от всех ещё раз сходил на пристань. Прошёлся по

берегу Оби, где не нашёл даже признаков бывшей танцевальной площадки. Но место он определил по состарившемуся домику баяниста Саши Токарева. Он ещё хранил какое-то присутствие жизни. Среди развалившихся в разные стороны прясел дворовой ограды на верёвках висели выгоревшие одежды. Совсем древняя старуха стояла у разгороженного палисада, опираясь на суковатую палку. Прохоров поклонился, на что старуха ответила едва заметным кивком головы.

– Здесь жил Саша Токарев, баянист. Где он теперь, жив ли?

Старуха напряглась, как это обычно делают люди с жалкими остатками слуха. Прохоров повторил вопрос.

– Помню, помню, как же, – часто закивала головой старуха. – Он обезножив совсем. Свезли кудый-то в интернат, там, я слыхала, и помер давно уже.

Виктор, ещё раз поклонившись, молча отошёл к берегу. Обь лежала недвижно, не выдавая даже малейших признаков течения загустевшей на жаре воды. Порой только стрижиные стайки проносились над водной гладью и рассыпались над песчаной косой противоположного берега. В ушах чудом возникала мелодия. Про Дунай, про Дунай голубой, и гудели баянные басы, рассекая плавные напевы вальса.

«Почему так жива память?», – удивлялся себе Виктор. Долгие годы он прожил без этих воспоминаний, терзался другими заботами и жил другими радостями. А тут... Сейчас будто и не существовало ничего другого, кроме этой влекущей в безумие памяти...

Вернувшись на пристань, он увидел на фронте дебаркадера красочный рекламный щит. Белый теплоход разрезал водную гладь, живой треугольный выпел, остроумно притороченный к рисованной мачте корабля, колыхался на фоне голубого неба. Глаза натолкнулись на расписание пассажирских судов. Ближайший теплоход шёл с низовий Оби до Новосибирска как раз в воскресенье, когда он собирался с племянниками отправляться на машине до ближайшей железнодорожной станции. В кассе любезно предложили ему билет в каюту первого класса. Планы моментально поменялись, он тут же решил, что из Новосибирска улетит в Москву самолётом, чем и компенсирует время, потерянное в плавании по реке. Домой шёл, окрылённый такими планами. Он ещё успеет до возвращения дочери с курорта пообщаться в Москве с внуками...

Как Виктор и предполагал, Сергей не стал таить от младшего сына разговор о фермерстве. Было похоже, что предложение Семенцова задело и его самого. Виктор представил, как брат в ту же ночь до утра мысленно примерял своё безделье в городе,

где во дворе поросёнок да пяток куриц с петухом, к хорошему делу в деревне, на которое ещё и сил, и выдумки хватит.

Но всё же идею обсуждали сообща, собравшись субботним вечером для прощального ужина. Решение гостя уезжать на теплоходе все поддержали с восторгом, как будто каждый от этого романтического рейса предвидел для себя какое-то удовольствие, особенно ликовали ребятишки. Но о перспективе фермерства заспорили. Милицейский капитан Максим обратил проблему в шутку, сказал, что согласен в хозяйстве подрабатывать конюхом.

– Ты, Виталик, обязательно конюшню заведи, сейчас это модно.

Дети завизжали от восторга. Бабушка Вера у плиты тоже от души смеялась. Виктор, лукаво ухмыляясь, смотрел на всех из-под икон, ещё родительских, висящих над столом в переднем углу. Сергей хмурился, и Виктор, бросивший камень в покойные воды семейства, пытался предугадать, куда брат собирается повернуть тему. Старший в семье Алексей, считавший свой мир на автосервисе вполне устоявшимся и вечным, казалось, даже ухом не вёл в сторону всё разгорающейся коллективной фантазии. Виталик, как будто не придававший значения тому, что речь в первую очередь касается его, наполнял бокалы пенистым домашним пивом и, улыбаясь, молчал.

– Так это что ж? – Спихватился вдруг Максим. – Ты Виталик станешь помещиком? У тебя будет своя деревня?

– С крепостными крестьянами, – себе в руку сказала Виталькина жена, Валентина, и компания дружно взорвалась хохотом.

– С крепостными не получится, – серьёзно вставил Алексей. – Они теперь все – собственники земли. Землевладельцы. Их страна паями наделила.

К удивлению старшего Прохорова, знание земельного вопроса вполне к месту показала сноха Алёна, преподаватель университетского филиала.

– С землёй в нашем районе сейчас жуткие истории происходят, – сказала Алёна, мельком оглянувшись на угол под иконами, где сидел Виктор. – По новому законодательству со всех, кто имеет свидетельства на земельные паи, стали требовать уплаты земельного налога. Кто не платит – получает судебные иски. Я читала в газете, что в каком-то районе нашей губернии приставы описывали имущество у бывших колхозников. А они говорят, что никаких паёв и в глаза не видели, за что же платить...

«Не эту ли ситуацию решил словить Семенцов, пользуясь властью? – Эта догадка у Виктора мелькнула не случайно. – Как он собирается обрести (или уже обрёл) деревню, если земля там хотя бы формально в частной собственности? Не таким ли

образом он берётся помочь и его племяннику?»

Ответ на эту догадку давала всё та же Алёна:

– Они как не имели земли, так не желают её и иметь. Только отстаньте, тем более – не требуйте налог. Может где-то там, на Кубани, и не так всё выглядит, там есть спрос на пашню, а у нас в комарином краю – бери даром, только отстань.

Прохоров-то знал, что и на Кубани крестьян обманывают почём зря. Но в главном Алёна была права. Здесь он видел домашнюю инсценировку и развязку того сумбурного процесса, свидетелем которого он был в 1992 году в Москве, на Старой площади, где тогда после низложения всемогущего ЦК КПСС размещался аппарат главы правительства России Гайдара, и он ходил по коридорам и кабинетам с бумагами от своего министерства.

Ему, министерскому работнику, тогда и в голову не могло прийти, что решаемая в перестроечном раже проблема когда-нибудь «усядется» вместе с ним за стол в родительском доме. Отлетит вся мишура чиновничьих бумажных препровождений, и ребром встанет вопрос: где работать молодому дипломированному агроному? На мойке автомашин или в поле, на родной земле? Вопрос далеко не частный.

Он горько усмехнулся. Себе под нос усмехнулся. Над собой тайком сердито посмеялся. Он, как тот ворон из интермедии Райкина – Пушкина

и Гоголя помнил. Признайся он сейчас в том, что так близко находился к той кухне, где варили всю эту кашу, ему, может, и не поверили бы. Но имели бы полное право спросить, или хотя бы подумать о нём: «Куда ж ты смотрел? Чей хлеб ел, когда узаконивал нашу сегодняшнюю маяту! А теперь вот сидишь под родительскими иконами... Заслуживаешь ли ты скидки даже за ту, в сущности, малую ступеньку в государственной иерархии, какая досталась тебе, выкормышу этого дома?»

Тяжело ему было от такой думки в прощальные часы. Он ждал, что скажет Сергей. А брат, как ни странно, молчал. Молчал и Виталий, лишь отшучиваясь от предложений завести то лошадиную, то петушиную ферму. Но молчал, видно, со смыслом. В бокалы мерно разливалось пенное пиво. Никто не потянулся к стоящей среди закусок бутылке водки. Тяжесть то ли предстоящего прощания, то ли затронутой проблемы висела над семейным застольем.

Каким-то глубинным чутьём Виктор понимал, что обстановку мог бы разрядить его совет. И он знал, что следовало бы посоветовать племяннику. Но в том-то и дело, что он слишком много знал. Знал, что заплесневеет, закиснет молодая душа в тех моечных шампунях, опротивеет ей вид чужих дорогих иномарок. Знал и то, с чем придётся сразу же столкнуться, решишь Виталька шагнуть в пучину

самостоятельного хозяйствования на земле. На первых порах это будут проблемы обзаведения, строительства. Надо, как говорится, принять старт. Допустим, Семенцов, как и обещал, поможет. Виктор надеялся продолжить с ним связь. Как – пока не знал. В конце концов, разность положений столичного, хотя и бывшего, и провинциального чиновника – вещь скрепляющая. Главное, суметь держать контакт...

Но труднее будет на втором этапе, когда производство по экономическим теориям должно становиться товарным. Здесь должны работать законы, а они и те, какие есть, на пользу дела не работают. Рынок захвачен сворой пронырливых дельцов. Они сомнут молодого, неопытного предпринимателя. Доморощенный производитель, по сути, является заложником двух монополий – перерабатывающей отрасли и торговли. Между этими двумя монополиями орудует третий иждивенец – перекупщик. Теория, по которой якобы рынок, увязывая спрос с предложением, формирует справедливые цены, превращена в абсурд. И со стороны государства здесь царит сплошное недопонимание. Декларируя рыночные отношения, государство не смотрит, в чьих руках оказался торговый капитал и содействует ли он развитию производства. Отечественного фермера легко озолотить, но и разорить его можно в два счёта.

Виктор оценивающе посмотрел на Виталия. Крепкий, смысленый парень. За словом в карман не лезет, со старшими братьями держится с достоинством, родителей почитает. Ласков с женой и детьми. Племянник, как будто, прочитал по глазам его оценку, поднялся, по-хозяйски при всеобщем молчании наполнил водкой рюмки и коротко сказал, обращаясь к нему, как старшему за столом:

– Ничего, дядя Витя, вы обо мне ещё услышите!

Водку выпили стоя. Виктор посмотрел на брата. Сергей ответил ему долгим, смущённым и растерянным взглядом.

21.

Теплоход «Римский-Корсаков» шёл с низовий Оби, от Салехарда. Когда семейство Прохоровых в полном составе прибыло на пристань, корабль уже стоял, возвышаясь над дебаркадером белоснежной верхней палубой. Стоянки оставалось полчаса, пассажиров на посадку было немного, и это как-то удлиняло тягостное время, в которое надо было всех обнять, всем что-то сказать, а слова вязли в горле и вырывались всё больше вздохами, да короткими фразами ни о чём. Виктор в последний момент поверх голов младшей ребятни посмотрел на брата, на Веруню, и сердце сжалось от ощущения чего-то конечного, необратимого. Сергей как-то вмиг постарел, ещё несколькими часами раньше он

таким не казался. Между братьями теперь ложилось смутное пространство, против которого человек превращён в букашку. Цивилизация, сверхзвуковые скорости нелепой несоизмеримостью желаний и возможностей превращены в ничто.

...Что-то ошеломительное, невероятное вдруг случилось на пристани. Виктор скорее ощутил, чем понял, – что именно. Вдалеке, на вылизанной дождём и солнцем ленте дощатого настила он увидел ту рыжую девчонку, которая просияла перед ним двумя днями раньше в пристанском посёлке. Она шла, прогибаясь под тяжестью ноши. За ней с такой же сумкой следовала красивая женщина, которую Виктор тоже узнал. Позади их, раскачиваясь на слабых ногах, медленно передвигалась седая старуха. Виктор догадался, что это была сестра Юльки, которую он ни разу не видел, а только знал о её существовании. Значит, это было такое же, как и у него, прощание: тётушка провожала племянницу с её дочкой, они плыли тем же теплоходом.

Каюту он нашёл удобной и уютной. На столике у задёрнутого жалюзи окна – бутылка минеральной воды, пробочный ключ, пучок выцветшего бессмертника в перламутровой вазе и стакан. «Ненавязчивый сервис», – мелькнула в голове расхожая фраза. Он поставил чемодан и заспешил на палубу. Корабль уже отчаливал от пристани, корма медленно ползла вдоль борта дебаркадера.

На берегу, размахивая руками, стояло семейство из трёх поколений Прохоровых. Виктор вытер платком повлажневшие глаза и стал махать им в ответ. Город в плавном кружении прижавшихся к земле кварталов отодвигался за нарастающую ширь реки. Теплоход дал протяжный дребезжащий гудок, и мелкая, напрягаемая дрожь палубы возвестила о начале путевой жизни.

Вернувшись в каюту, Прохоров, не раздеваясь, прилёг на пахнущее льняным полотном атласное покрывало и сладостно закрыл глаза. Думать ни о чём не хотелось, усталость в теле и в мыслях быстро сморила его. Он уснул.

Разбудил зуммер мобильного телефона. Это был племянник Виталька. То, что позвонил именно он, Прохорову показалось продолжением вчерашней застольной темы. Но племянник только поинтересовался, как устроился и, передав от всех пожелания счастливого плавания, попрощался.

Не вставая с дивана, Прохоров стал прислушиваться к звукам за окном. Палуба жила людскими голосами, звуками шагов. Шаги были шаркающие, дробно стучащие, медленные и торопливые. Иногда мимо окна шумно пробегали дети. Прохоров встал, приподнял штору. В этот момент заиграла музыка: и – надо же такому случиться! – звучал вальс «Дунайские волны».

Откинувшись на спинку дивана, Виктор стал вглядываться в синий проём окна. Сколько прошло времени, он не знал, но если уже случилось чудо – его заветный вальс, – то должно было случиться и это: за окном он увидел девчонку с рыжей косой. Но тут же произошло и вообще невероятное: Прохоров услышал имя, произнесённое мягким грудным голосом, – Юля. И тут же эта рыжая девчонка появилась в раме окна. Нет, ему не показалось, прозвучало именно это слово: «Юля». И эта Юля, как две капли воды, была похожа на ту, что осталась далеко, в его юности.

Он ещё не знал, как поступит дальше, но двое суток совместного плавания должны были каким-то образом свести их к знакомству. И это случилось вечером, когда в кормовой части палубы пассажиры, обжившие корабль от самого Салехарда и уже давно перезнакомившиеся друг с другом, затеяли танцы. В динамиках играла хорошая музыка. Виктор понял, что старая корабельная традиция, существовавшая ещё со времен, когда по реке шлёпали плицами двухпалубные пароходы и водный транспорт был единственным средством передвижения с севера на юг Сибири и обратно, живёт и поныне. На пароходе он давным-давно плыл из Суэжа в Новосибирск поступать в университет, не раз путешествовал взад-вперёд во все студенческие пять лет. Были ли на тех пароходах отдельные каюты, он тогда не знал.

Купленный за четыре рубля билет в четвёртый класс давал право на проезд без места, на надтрюмной палубе, под которой дышали паровые котлы, и ворочала своими могучими плечами загадочная машина с огромными латунными рычагами и штоками. Можно было подолгу любоваться работой этого чудовища, присев на корточки у источника тепло квадратного люка с лестницей, по которой то спускались, то поднимались молодые матросы. Но и четвёртому классу разрешалось подниматься на прогулочную среднюю палубу. Там, в её кормовой части, играла музыка. Народ по вечерам танцевал до самого отбоя, когда корабль оставался во власти неумолкаемого дыхания паровой машины и шлёпанья плиц по воде.

Переодевшись в спортивный костюм, всегда молодивший и бодривший его, Прохоров попытался раствориться в массе пассажиров. Но, то и дело, замечал на себе летучие взгляды. Высокий, седой, благообразный интеллигент, он всё же выделялся в беспечной толпе туристов. Женщина с рыжеволосой девочкой тоже посмотрела на него, он ответил тем же и, наверное, не сумел скрыть свой особый интерес к этой паре. Девочка отвернулась, и что-то сказала матери на ухо. Затем, по-детски повиснув на её плечах, вытолкнула её из круга танцующих. В какой-то момент они оказались рядом, и Прохоров легко и просто заговорил. Он посчитал, что при его

возрасте такое обращение не могло показаться банальным:

– Хотел бы с вами познакомиться.

Женщина удивлённо вскинула брови, девочка, сверкнув озорным взглядом, прижалась щекой к материнскому плечу.

– Мы с вами где-то встречались? – был ответный вопрос.

– И да, и нет. Меня заинтересовало имя вашей дочери. Ведь её Юлей звать?

– Да, – смущённо и с ещё большим любопытством ответила женщина.

– В молодости я знал очень похожую на неё девушку. Точная копия. Это была Юля Забелина.

– Вы знали мою маму? – почти вскрикнула женщина, а девочка испуганно напряглась.

– Очевидно, да. У неё отец работал на пристани бакенщиком.

Прохоров представился. Женщина назвалась Надеждой. Они втроём пошли по палубе к носу корабля. Музыка постепенно отдалялась и затихала. Говорить можно было без напряжения. Прохоров стал рассказывать о себе. Узкая палуба была тесна для троих, и Юля пошла впереди, прислушиваясь к каждому слову. Когда она оглядывалась, толстая рыжая коса скользила по её гибкой спине. Подростки-матросики, очевидно, практиканты из речного училища, как мухи, прилипали при встрече

к белой палубной стене. Юля с забавным кокетством реагировала на этот давно, видать, привычный для неё восторг, горделиво отворачивалась от назойливых взглядов. Прохорову было заметно, как на это реагировала Надежда – у матери с дочерью ни на минуту не прерывался их бессловесный, наполненный таинственным женским смыслом диалог, какой только и возможен между любящей матерью и дочерью-подростком.

Вот что Прохоров узнал из рассказа Надежды. Она осталась с бабушкой, дедушкой и молодой незамужней тётёй в трёхлетнем возрасте. Мать ушла из жизни в свои двадцать пять. Надя с трудом разделяла то, что успело отложиться в памяти от непосредственных детских впечатлений, и что впиталось от рассказов бабушки и тёти. Но, как ей кажется, она знает о матери всё. Прохоров мысленно вставил в это «всё» себя, но сразу же стыдливо прогнал эту мысль. Как ни сильна была его первая мальчишеская любовь, она оборвала все свои концы ещё до того, как хоть каким-то образом могла перекинуться в этот продолжающийся мир.

Теплоход едва заметными толчками разгребал шелестящие воды просторной Оби. С берегов доносились запахи скошенных трав. Небо, просторно раскинувшись над речными поймами, постепенно серело, сливаясь с цветом воды. Юля, вдруг повзрослевшая и задумчивая,

стояла, откинувшись на парапет палубы, и затаённо внимала каждому слову...

Надя мало что знала об отце. После смерти матери сужские дедушка с бабушкой сделали всё, чтобы изолировать трёхлетнего ребёнка от спивающегося зятя. Пытались вмешаться в её судьбу родители отца, жившие в Красноярске. Они приезжали за Надей – в первый раз, когда ей было пять лет. Она, было, даже потянулась к ним, за несколько дней пребывания в Сугеже полюбила мягкого и интеллигентного деда, говорливую и ласковую бабушку. Но её дедушка Митя не на шутку испугался этого срастания, вдрызг разругался со сватами. Разъехали в состоянии вражды. Отец Нади не принимал в этом участия, занятый собой и своим недугом. К нему Надя так и не прикипела душой, он и до сих пор остаётся ноющей болячкой только в её сознании. Судьба его тоже оказалась трагичной.

– Дедушка с бабушкой из Красноярска писали мне письма, всё время звали к себе. Отец тоже стал писать, пьянство объяснял страданиями о маме. Потом, что подтверждали и родители, остепенился, стал работать на Красноярской гидростанции. – Надя замолчала, пауза длилась долго. – Лет пять назад я получила сообщение, что он погиб при какой-то аварии на станции. Дедушка с бабушкой ещё живы, просят, чтобы я к ним Юлю учиться отправила.

Дед – известный учёный, гидростроитель, ему под восемьдесят, но работает профессором в университете. У Юльки появляется неровное дыхание к этим зазывам, – Надя рассмеялась, Юля, смущённо опустила глаза. – Вот, заявляет, что готова поменять Краснодар на Красноярск. Я как-то не решаюсь. Последний класс будет заканчивать. У нас в Краснодаре, как мне кажется, мало надежды на поступление в институт.

– А в Краснодаре вы как оказались?

– Тётя Люда, младшая мамина сестра, с мужем туда переехали. Муж у неё родом с Кубани, у него от родителей там квартира оставалась. Они и не дружили нисколько. Он, говорили мне, за моей мамой увивался. Здесь работал на пристани, может, знаете – Георгий Польшин. Пришёл к отцу, говорит: отпусти Людмилу, не хочу один уезжать. Мамы уже тогда не было. Я после школы туда к ним переехала. Окончила институт, вышла замуж за однокурсника. Живём нормально. Вот, Юля у меня, – Надя потянулась рукой к дочери, взяла золотистую косу и перекинула её с груди за спину. – Тётя Люда настояла, чтоб так назвали. Она маму очень любила. Но когда дядя Гоша умер, она одна не захотела в Краснодаре оставаться. Здесь бабушка уже совсем старенькая была, дедушка Митя умер ещё при мне. Вот теперь мы с Юлей гостили у тётушки. Тоже совсем постарела.

Голос у Нади был мягкий, говорила она раздумчиво. Прохоров равнодушно пропустил её последние фразы, зацепившись за произнесённое имя – Георгий Польшин. Перед глазами вырос тот высокий, сутуловатый моторист с буксирного катера. После той позорной для него драки на глазах у Юльки он долго избегал встреч с любимой девушкой, стыдился, вспоминая в деталях свою беспомощность. В нём говорило оскорблённое самолюбие. Даже много лет спустя он иногда неприятно ковырялся в былых переживаниях. Когда Юлька сообщила ему обо всём, что с ней случилось, он многое ставил себе в вину. Жалел вдвойне о том, что и с ней был, как в той драке, нерешителен и беспомощен. Что робел в том, в чём оказался смелее другой, что берёг, то, что было бездумно отдано другому. Вот как мир тесен. Гоша Польшин, оказывается – кубанский казак. Он и после смерти потревожил в нём давно зажившие душевные язвы.

Они попрощались у лестницы, опускавшейся с прогулочной палубы вниз, где находились двухместные каюты второго класса. Надю Прохоров увидел ещё раз в лестничном проёме. Она стояла с запрокинутой вверх головой и грустно улыбалась. Но Прохоров уже смотрел не на неё. На фоне отражённой водой розовости заката там же, внизу, в лестничном проёме ему махала рукой его далёкая, несбывшаяся любовь. После он не раз ещё

вспомнит это как последний лучик, посланный ему из невозвратной поры детства.

22.

Вернувшись к себе в каюту, Прохоров присел на диван и в тусклом свете потолочного плафона стал разглядывать висящую напротив картину. На ней была изображена чайка над взметнувшейся серебристой волной. Это была фотография в светлой, едва оттеняющей стену, раме. Фотограф, похоже, снимал с низкой точки, от самой воды.

Прохоров немного увлекался фотоделом, поэтому его сейчас и привлекло искусство неизвестного мастера. А, может, это даже было снято где-нибудь в Германии, где выпускают такие прекрасные теплоходы, и наша страна на зависть собственным корабелям закупает их для речных пароходств. Такие же, только трехпалубные, красавцы плавают и по Волго-Балту от Ленинграда до Астрахани.

Подумалось: сколько раз они с Полиной собирались проплыть по Волге. Когда ещё была маленькой дочка, потом – когда дочка уже выросла и вышла замуж. Сейчас вот они с женой уже постарели, и дочка живёт в городе на Волге, а плавание так и не состоялось.

Теперь речные суда перестали служить средством передвижения в бытовом, повседневном

смысле. Это раньше, в пору его детства и отрочества, в Сугеже ждали весеннего ледохода не как природного явления, а потому, что вслед за последними льдинами с верховий, из крупных городов – Новосибирска, Барнаула и Томска – пароходами «с большой земли» прибывала масса людей, на провинциальный город накатывала волна новой жизни.

Сейчас этот удобный, ставший исключительно туристическим, транспорт отпугивает ценами. Подумал об этом не потому, что пенсия для жизни скудноватая, можно и раскошелиться на двоих-то хотя бы от Москвы до Вольска, где теперь живут дочь с зятем и с их двумя, уже подростками внуком и внучкой. Подумал по поводу всё той же глобальной несоразмерности желаемого и возможного в этой жизни. Цивилизация в стране, как этот теплоход, плывет между двумя берегами, но пристаёт только к одному из них, для другого оставаясь недоступной.

Он разобрал уложенное стопкой влажное постельное белье, приготовился лечь. Жизнь на корабле постепенно затихала. Иногда ещё за окном слышались торопливые шаги вахтенных матросов. В покое стали сильнее ощущаться упругие толчки по курсу движения, как будто кто ритмично подталкивал громадину теплохода, пытаясь ускорять его ход.

Подумал о своих новых знакомых. Представил смуглое личико девочки Юли, утонувшее, наверное,

сейчас в волглой подушке и в рассыпанных золотистых волосах. Вспоминая ту, свою Юльку, оживляя в памяти давно угасшую боль и страсть, он видел в этой девочке совсем ребёнка. И даже необъяснимо для себя тревожился за её судьбу. «А она ведь и правда уедет в Красноярск», – подумал и на этой мысли успокоился.

Погасив свет, Прохоров стал вглядываться в медленное скольжение бликов по гляncу каютных стен. Это постепенно отвлекало от сложных раздумий. Мысли бежали по мелкой зыби недавних впечатлений. И всё перетекло в крепкий сон.

В Новосибирск теплоход прибывал в половине восьмого утра. За полчаса до прибытия корабельные динамики стали приглашать пассажиров в ресторан на «лёгкий завтрак». Прохоров, побрившись и уложив в чемодан дорожные вещи, вышел на палубу. Спутниц нигде не было видно. Он спустился ниже, на палубе, где размещались каюты второго класса, Нади с Юлей тоже не было. Номера их каюты Прохоров не знал, решил оставить последнюю встречу на волю случая. И такой случай выпал уже при сходе на берег. Прохоров взял из рук Юли её тяжёлую сумку. Вместе шли до стоянки такси. Здесь, на площади перед гостиницей «Обь» их пути расходились: Прохорову надо было в аэропорт Толмачёво, спутницам – на железнодорожный вокзал.

Прохоров взял в свою ладонь мягкую руку Нади. Глубоко-глубоко заглянул в глаза. Они, как ему показалось, всё ещё были наполнены любопытством. Где-то на самом донышке этого взгляда таилась знакомая с тех давних лет Юлькина тревога. Он молча пожал Надину руку, наклонился и поцеловал в налитое хорошим загаром запястье. Юля стояла рядом, перекладывая с руки на руку аккуратно заплетённую золотистую косу. В раскосых зеленоватых глазах бесились озорные искорки. Они и подсказали такой же озорной и безответственный вопрос на прощанье:

– Так из Краснодара – в Красноярск? Когда же?

Девушка взглянула на мать, качнулась гибким станом – первый жест неопытной кокетливости – и в тон вопроса ответила:

– Как только, так сразу. – Засмеялась. И прибавила, смущённо улыбаясь: – Вот окончу школу, тогда...

23.

В самолёте Прохорову, наконец, удалось полностью расслабиться. Навстречу полетели желанные сцены свидания с внуками. Они за минувшие десять дней его отсутствия, наверное, уже изрядно утомили Полину. Спасением была, конечно же, их загородная дача, где хотя бы не требуется оберегать детей от стихии шумных

городских улиц. Внук и внучка – десятилетняя Женя и двенадцатилетний Серёжка – теперь у него в представлении перемешивались с сужеской ребятнёй его племянников.

Наползала ленивая дрёма под редкие вздрагивания летящего по волнам корабля и гул моторов. И так же сквозь дрёму с её путаными сценами прошлых событий Прохоров стал вспоминать брата Сергея, сноху Веруню. Стал сравнивать свою семейную жизнь с удивительно слаженной жизнью этой пары.

Подолгу с Сергеем и Верой ему вместе бывать не приходилось, но и тех дней, которые случались с перерывами на многие годы, было достаточно, чтобы создалась картина полной слитности и согласия. Виктор даже не мог с определённостью подметить чьё-либо лидерство в семье брата. Что бы ни делал и ни говорил Сергей, Веруня, как будто, делала или говорила это сама. Мягко подшучивала над мужем, и он словно нарочно и даже с радостью подставлялся под её безобидные подначки.

Сравнение с собой, со своей семьёй разбудило и оживило его. У них с Полиной такого лада не получалось с самого начала, бывают трения и поныне. Виктор по сравнению с собой, со своим устройством семейного очага легко и безревностно отдавал первенство младшему брату, хотя ни сам Сергей, ни его жена никаких университетов не

кончали, не учились общению в просвещённых светских кругах. Встретились однажды на соседних улицах, по какому-то природному наитию оценили друг друга. И пошли, и пошли рядом по жизни. Дети с их вечно непредсказуемыми проблемами только объединяли их. Они, ещё будучи сами молодыми, уже обзаводились внуками. И это прибавляло им разделённого сполна счастья.

Бывает же так, что первая любовь у кого-то становится и единственной, и последней. У него получилось не так, хотя, когда он оценивал свою судьбу от её финала, а финал уже вот он, может быть, в этом последнем приезде на родину, он ни на что не жаловался – это даже не приходило в голову. Просто у него всё было не как у брата. А как у Толстого: «каждая счастливая семья счастлива по-своему».

Свою первую любовь ему пришлось вытаптывать, выскребать из себя не один год, а она прорастала снова и снова, покрываясь ржавчиной разочарований в женском роде вообще. «Извини, так получилось, я от него беременна...», написала Юлька в письме. Для него была недотрогой, а с кем-то вдруг «получилось».

В студенческие годы он был видным парнем, многие девушки выделяли его в кругу ровесников. Большой город, в котором достаточно было всего для упоительных чувственных и плотских

самовыражений, не оставлял и его в аскетической изоляции. Но он и был, и казался всем не от мира сего. Грыз науки, «тянул» в университете на красный диплом. Распределён был экономистом в аппарат Облплана в Новосибирске. Начальную школу физической близости с женщиной, какую все молодые люди проходят с неким преодолением барьера святости и таинства, он прошёл как будто по касательной, не отделив ей сколь либо осязаемой доли своей души. Вот уж действительно, «получилось». Женщина была старше его и во всём опытнее. Как по теории Фёдора – знала, на что идёт. Благо, что после не досаждала сильно своей привязанностью. Как встретились, так и разошлись. Виктор ещё и тогда болел Юлькой и своим оскорблённым самолюбием. До переезда на работу в Москву он был свободен душой и плотью. А это было уже в возрасте под тридцать. Воспринял перевод «на повышение», как открытие нового мира, где, как ему казалось тогда, будет время для всего, а уж для устройства личной жизни – и подавно. Но так ли вышло, как он предполагал?

В аппарате Госплана, куда он был препровождён из Новосибирска, можно было, как в вальсе, закружиться со столичными дамочками. И он, особо не тратя себя, стал, как бы, поверху смотреть на перспективу выхода из одиночества. Не предполагал, однако, что и его кто-то уже выбирал.

С первого дня, с первого появления в служебном столичном бомонде. Однажды он, кажется, заметил её. Она приходила в отдел, где Прохоров ещё был новичком, откуда-то «сверху», от вышестоящего начальства. Свободно держалась с сотрудниками отдела, передавала какие-то поручения. Виктор поймал её взгляд из-за плеча начальника, и вдруг почувствовал: это выстрел на поражение. Взгляд после постоянно вспоминался. В следующий раз он увидел её в столовой. Она была в окружении нескольких почтенных дам старше её возрастом, но с ними общалась независимо, даже повелительно. И опять такой же мимолётный взгляд через головы стоящих в очереди сотрудников. Виктор с усилием всё же выдержал этот взгляд, и она отвела глаза первой.

Был ещё случай, когда она встретилась ему на широкой ковровой дорожке в длинном коридоре начальственного этажа. Коридор был просторный, просматривающийся на всю длину, и Виктор с расстояния мог рассмотреть её рослую фигуру от туфельных шпилек до плотно закрывавшей плечи россыпи светлых волос. Поравнявшись, он автоматически, полупоклоном головы поздоровался. Наверное, это получилось естественно, она искренне смутилась и даже улыбнулась в ответ. Можно было заговорить, но такая решимость мелькнула у него с опозданием.

У него была комната в общежитии. Из первых покупок приобрёл пару подвесных книжных полок. Тратился в основном на книги. В кругу сослуживцев постепенно приобретал репутацию грамотного сухаря, знающего себе цену. Сослуживцы-мужчины обычно бывают к таким сдержанно ироничны, наверное, с учётом их необстрелянности в столичном свете. Женщины не упускают случая проявить свою природную склонность к покровительству.

Первое личное качество, каким обнаружила себя при установлении знакомства Полина – так звали девушку – было именно ненавязчивое материнское покровительство над провинциалом. Началось оно с натаскивания на столичные прелести театра и музыки. Из первых подарков Полины были модные галстуки, под которые надо было догадливо подбирать и костюмы, в чём опять же не обходилось без её покровительственной помощи.

Полина вкрадчиво вносила поправки в его манеры поведения в общественных местах. Она была коренная москвичка, и открыла для Виктора странное правило москвичей: при посадке в общественный транспорт у них не мринято церемонится, выставляя напоказ вежливость. Этот рационализм Виктор не раз испытывал на себе, когда, пропуская в очереди перед посадкой в автобус или троллейбус, вперёд себя дам, получал увесистые тумачи по спине.

Их отношения вошли в ровное, плавно текущее русло, и только тогда он заметил, что присутствия Полины в его повседневности становится всё больше и больше. И, что странно, оно не мешало, а, наоборот, помогало жить.

Дальше случилось забавное. Она познакомила Виктора со своими родителями. Отец был почтенный генерал, но мать, что сразу бросалось в глаза, занимала в семейной жизни чин куда выше генеральского. Видно, Виктор понравился отцу с первых встреч, и он однажды шутливо предупредил будущего зятя:

– Ты с этой породой будь настороже, под каблуком у них место жёсткое. Полина будет тебе хорошей женой, но это орешек покрепче матери. Когда подомнёт, будет поздно.

На «красный диплом» в семейной жизни Виктор, наверное, не вытянул. Природная вежливость и мягкость характера не позволили ему сделать в отношениях с невестой, а затем и с женой резкую прокрутку назад. Мешало этому и то обстоятельство, что жить молодые стали в квартире её родителей. В этой жизни оказалось слишком много присутствия тёщи-генеральши. Тесть сочувственно поглядывал на всё происходящее, и однажды, когда Полина уже была беременна дочкой Олей, вывел Прохорова «на прогулку» и, жёстко притянув к себе за пуговицу пальто, по-командирски продиктовал условие:

– Делай, что хочешь, падай в ноги начальству, проси хоть комнату в общежитии, но от нас отселяйся. Последует, конечно, семейная контратака, но я тебя прикрою.

Конфликты начались из-за распределения обязанностей. Смешнее ничего нельзя было придумать – тёща решила, что новосёлу в их семье в самый раз можно поручить выгуливание её любимой болонки по утрам. Доселе это по очереди делали генерал с Полиной. Оказавшись «в интересном» положении, Полина отпадала от ранних вставаний, генерал часто бывал в отъездах. А болонка по чину была ещё главней генеральши.

Виктор сразу невзлюбил эту тварь, она ему отвечала тем же – только он брал в руки поводок, как собака заливалась звонким, причём сердитым, лаем и будила жильцов всей лестничной площадки. Так продолжаться долго не могло: тёща увидела причину беспокойства своей любимицы в нерадивости зятя. Полина пыталась защищать мужа, но после этого каждый раз и сама изображала перед ним холодную недотрогу. Виктор в ответ уходил без завтрака. В тот день в напряжённом молчании проходил и семейный ужин за общим столом.

Болонка всё больше наглела, по утрам начинала лаять от одного шевеления в спальне молодых. Полина ещё продолжала ходить на работу. Работала она в секретариате при высшем начальстве

Госплана. Ей надо было держаться в хорошей форме как внешне, так и по настроению. День ото дня сохранять такую форму становилось всё труднее. Назревали срывы. Виктор, жалея беременную жену, страдал. Не исключено, что драма, прежде всего, сразила бы молодую семью. Но, к удивлению Виктора, разбушевался генерал. Он заявил при всех, что принимает предложение командования округа перевестись из Москвы в провинциальный гарнизон. Отметав громы и молнии, он сердито бросил, глядя в потолок:

– Кто со мной – милости прошу. А нет желающих – извините, не неволю, поеду один.

С тещей случилась истерика. Она громко рыдала в спальне. Скребя лапами дверь, лаяла болонка. Генерал пнул её, и замшевая туфля с ноги улетела за диван. Доставали сообща, что немного разрядило обстановку. Но Виктор окончательно понял, что виновником всего происходящего всё равно будут считать его. И надо немедленно что-то предпринимать.

По работе у него никаких проблем не возникало. Дважды за три года повысили категорию. Он стал бывать на расширенных совещаниях при высшем руководстве Госплана. Отношения с сотрудниками и с начальством в отделе сложились вполне приличные. Логика дальнейших действий выстраивалась сама собой. Он был переведён в

Москву как специалист. Обзавёлся семьёй, грядёт появление потомства. Оба – работники одного ведомства...

Начальник отдела участливо рассудил ситуацию, предложил написать заявление в профком, но ходатайство взял на себя, положив заявление в папку с золочёной надписью «Для доклада». Через три дня Прохорову в профкоме выдали смотровой ордер на квартиру в районе Нагатино. Квартира была из освободившихся, далеко не новая. И район промышленный, а попросту –грязный. Смотреть вызвалась и тёща, отбиться от её услуги Виктору не удалось. Сперва он этим огорчился, предугадывая всяческие трения, но по прошествии лет только тещу и благодарил за то, что помешала ему ухватиться за первую попавшуюся соломинку. Он выждал срок и получил прекрасную двухкомнатную квартиру в новом доме у Таганской площади.

Когда квартирному вопросу наметился ход, Виктор поспешил поговорить с тестем насчёт провинциального гарнизона. Генерал громко расхохотался. И, снова притянув зятя за пуговицу, сказал, сверкая выцветшими, наверное, ещё с лейтенантских кочеваний по среднеазиатским гарнизонам, светло-серыми глазами:

– Тактический приём. Проверенный. Действует отрезвляюще, советую принять на вооружение.

Генерал был мировой мужик. После того, как его не стало, Прохоров уж пять лет твердит и мысленно, и вслух эту единственную оценку. С тестем ему повезло как с наставником и, можно сказать, другом. Тёщин комплекс нейтрализовался, как только они с Полиной начали жить отдельно. Генерал оказался прав, некогда посулив ему хорошую жену в лице своей дочери. Полина стала властной хозяйкой в доме, но и прекрасной матерью. То, что её «материнство» порой придавливало и его, он по молодости сносил болезненно, но и сам не заметил, как привык к нему – наверное, так привыкают к хорошо подогнанной по фигуре форме одежды, не зная и не желая знать никакого другого наряда. По образу жизни многих своих друзей и знакомых, вырвавшихся из семейных уз на мнимую свободу, он достаточно был предубеждён в том, что свечи в этой игре всем раздаются разные. У кого они действительно светят обновлённым светом, у кого ещё больше коптят. Соотношение, по его наблюдениям, было не в пользу суетливых свободолобцев. А вообще счастье за теми, кому повезёт, как брату Сергею. Но такие браки действительно случаются на небесах. На земле же из-за мнимой свободы в жертву чаще приносится больше, чем приобретается взамен. Особенно, когда дело касается детей. Тут, по убеждению Виктора, себя бывает полезнее и попридержать.

Сам имел счастливое детство, будь любезен, не обдели им и детей собственных. И терпи, если не в силах переломить ситуацию. Так думал Виктор Прохоров. И так жил. Хорошо ли плохо ли? Больше очков за то, что хорошо.

Три года, как не стало и тёщи. Родительская квартира на Фрунзенской набережной осталась Полине. Переезжать в неё сразу не стали, своя двухкомнатная для двоих была не тесна. Решились на переезд после того, как созрел план взять к себе из Вольска внука – мальчишка проявляет способность к живописи, Виктор присмотрел для него Строгановское училище. Теоретически можно было, конечно, через тестя-генерала в своё время похлопотать о переводе зятя, тогда уже подполковника, из Приволжского округа в столичный, а то и в Москву. Если бы об этом позаботилась Полина, он бы возражать не стал. Но сам на подковёрные операции не был натаскан. И Полина не расстаралась. Теперь вот и внука к себе не забрали, и зять полковником в пятьдесят пять лет сокращён из армии. И тестя-генерала больше нет.

Размышления перебила проводница – предлагался горячий завтрак. Захлопали откидные столики. Запахло отварной курицей. Виктор взбодрился, глянул на соседа слева: пожилой мужчина спал, уткнувшись головой в овал иллюминатора. Он тронул его за колено. Поняв

в чём дело, тот благодарно кивнул. Справа была юная девушка, и двое парней в креслах за проходом приставали к ней с предложением выпить с ними коньяка. Прохоров покровительственно помог соседке навести столик, и парни отстали.

Самолёт совсем не ко времени входил в турбулентную зону, началась тряска, за бортом потрескивали какие-то конструкции лайнера. У кого-то рядом пролилось на колени кофе. Возникла маленькая суета. Она закончилась, как только полёт выровнялся. Съев свою курицу и выпив горячего чаю, Прохоров попытался задремать – лёту ещё было около двух часов, хотелось появиться перед семьёй свежим и бодрым.

Разбудило сообщение по селектору, что самолёт пролетает над Волгой, что справа – Казань, слева – Нижний Новгород. Значит, ещё левее – Саратов и Вольск. Приближение к себе на жительство дочерниной семьи в последнее время сильно занимало Прохорова. У зятя-полковника была профессия связиста, на гражданке устроиться можно было бы хорошо и в Москве. Подумал вдруг: жаль, что по работе раньше не был связан с этой сферой. Напряг память: не может же быть, чтобы не нашлось никого, кто мог бы оказать протекцию. Это же невероятно, чтобы пятидесятипятилетнему полковнику, инженеру, невозможно было доработать до нормального пенсионного возраста.

Мысленно ругнулся. Его зятю хоть в том повезло, что квартира в Москве имеется. Надо будет – они с Полиной отдадут дочери генеральскую, трёхкомнатную. Посетовал, что это наследство уходящей эпохи когда-нибудь уйдёт в небытие. Ему, как экономисту, было видно, с каким трудом через развалины прошлого пробивается на свет ещё беспомощная и спутанная зелень новой жизни. С малой родины он теперь тащил на себе и груз ещё одной – семейной проблемы, в центре которой был племянник Виталий. «Да только ли Виталий!» – раздражённо подумал Прохоров.

Всё, что до этого ему казалось провинцией, теперь предстало окраиной, беспросветным тупиком.

Захотелось стряхнуть мрачные мысли. Извинившись перед соседкой, Прохоров встал, прошёлся взад-вперёд по салону. К концу четвёртого часа полёта пассажиры сидели осоловевшие. Только вернулся на место, раздался треск в динамиках, и мягкий вкрадчивый голос стюардессы объявил, что Москва закрыта грозовым фронтом, самолёт свернул на обходной курс.

Девушка справа по-детски всхлипнула, сосед слева громко пробурчал: «Чего ещё можно ожидать от этой Москвы!»

Прохоров горько усмехнулся: действительно, чего?!

Содержание:

| | |
|------------------------------|----|
| <i>Сыновний крест</i> | 3 |
| <i>Дунайские волны</i> | 94 |

**Автор выражает глубокую благодарность
за финансовую помощь в издании книги
Борису Ивановичу Коваленко**

Михаил Иванович Сильванович

Сыновний крест. Повести

Редактор А.Ю. Момот

Дизайн и компьютерная вёрстка С.И. Ланцыновой

Подписано в печать